

АЛЕКСАНДР ПЕРФИЛЬЕВ

СЕДА ГОРИТ СНЕГ



АЛЕКСАНДР ПЕРФИЛЬЕВ

К О Г Д А Г О Р И Т С Н Е Г

Рассказы

Издательство „КОСМОС“, Мюнхен 1946 г.

КОГДА ГОРИТ СНЕГ

Милому другу Аи.

Вековые, могучие кедры и сосны, жесткий снеговой наст, звенящая хрустя сорокаградусного мороза.

В прошлом у меня—сумасшедшее петербургское лето, больные белые ночи, с кутежами, картами, пьяным угарам. Увлеченье, казавшееся огромным всепоглощающим чувством. Потом — дуэль и провал. Во всем: в повседневной жизни, чувствах, памяти. Казалось — все остановилось. Я заперся в своей огромной квартире, снял телефонную трубку и велел лакею не принимать никого.

Я не знаю, испытаю ли я когда-нибудь еще такое ни с чем несравненное чувство потери. Вероятно, никогда. Потерять можно многое: вещи, деньги, родных, любимую женщину, наконец, родину. Но в те дни я потерял самого себя. Это жуткое ощущение собственной нереальности, невесомости своего «я» могло привести к самоубийству, или к сумасшедшему дому. Но в последний момент меня спасла мысль, простая как дети и травы, как земля, по которой мы ходим: каждый шаг — прошлое, каждая минута — потеря. Мы живем, не замечая этого, а потому большие потери тяжело ударяют по нашему сознанию, кажутся огромными, тогда как они только сумма неизмеримо малых, ежесекундных потерь. Если их чувствовать постоянно, то сумма уже не пугает.

Все же я был слишком болен и потрясен, чтобы эта мысль могла принести мне полное душевное равновесие. Меня раздражал город, люди, а изолироваться от всего, живя в Петербурге, было невозможно. И тогда я вспомнил друга, который мог бы меня исцелить. Боль-

шого, молчаливого, сурового, которому можно доверить все. Он не будет расспрашивать, когда вам не хочется говорить, не станет упрекать, раздражаться, спорить, преследовать нравоучениями. Он будет только слушать. Этим другом была... тайга. Она была моя родина, мать, нянька. К сожалению, я слишком рано променял ее на обманный блеск городов, на внешний лоск цивилизации, берущих в десять раз больше, чем они могут нам дать.

Я любил тайгу с детства, умел чувствовать ее суровую торжественную тишину, ее внутреннее богатство, скрытое от глаз непосвященного. Для меня она была живым существом, многоликим, многообразным и вместе с тем одним целым, какой-то совокупностью многих тайн природы, открывающихся только тем, кто умеет подойти к ним вплотную.

*

Зимняя кочевка бурята Рабданова — старого друга моего отца — была последним самым крайним жилищем в этой местности. В отличие от других своих сородичей, Рабданов не жил в юрте, а построил себе прочный, из вековых кедров сколоченный дом, такой же могучий, как и его хозяин, как вся окружающая их природа. Этот дом был предельным форпостом человечества, дерзнувшим возникнуть там, где царила беспредельная, безграницная вечная тайга. В трех днях пути отсюда, у верховьев каменистой, прихотливой реки Ии, начинались великолепные отроги Саянских гор. Для того, чтобы понять неописуемое торжественное величие этого храма природы, нужно быть таким внутренне потрясенным, опустошенным до-тла, каким чувствовал себя в те дни я. В спокойном состоянии человек слишком эгоцентричен, его восхищение природой неискренне, потому что в глубине своей он чувствует себя победителем... Но я был побежденным. Я проиграл все, что можно было проиграть в жизни и... бежал.

*

Четвертый месяц я как скромный прислужник присутствую при этой неизъяснимой, потрясающей литургии

красоты. Уже давно миновала короткая, прозрачная как горный хрусталь сибирская осень. Ледяная судорога прошла от верховьев до низовьев по извивающемуся, голубовато-серому телу Ии. Сосны, ели, лиственницы и кедры зацвели снежной черемухой зимы.

Уже давно старик Рабданов бьет серых с проседью белок, свежует их тут же на морозе и развесивает на кольях распластанные шкурки. Кровь стекает вниз, румяня девственный снег, шкурки прокаливаются от мороза и в них можно бить, как в барабан. Старик курит свою вонючую трубку и ворчит что-то под нос, когда увидит, что его пуля попала белке немножечко в сторону от глаза.

Айша — приемная дочь Рабданова — хлопочет по хозяйству. Ей восемнадцать лет, она стройна как калифорнийская елка и молчалива, как тайга. Мне нравится ее древнее, прошедшее через очистительный огонь веков, имя. Вспоминаю: так звали любимую жену Магомета. В ее глаза пролилась ледяная струя Ии, а в волосах, цвета потухшего костра, заблудился луч осеннего сибирского солнца.

Отец Айши — инженер-геолог, мать — бурятка. Они умерли еще тогда, когда девочке не было и двух лет. От отца у нее породистое, благородное лицо, высокий лоб и недетская умудренность в голубой задумчивости глаз. От матери — смуглая кожа, легкая косинка глаз и цепкая, стойкая выносливость в борьбе с закономерной, величественной жестокостью природы.

Изба Рабданова сибирская, чистая, просторная, в два сруба. У меня большая теплая комната, вся в коврах и звериных шкурах. Большой, грубо сколоченный стол, заваленный бумагами и книгами, пара кресел... Сплю я на полу, в спальном походном мешке, на разостланной ёрой войлочной кошме. Смею уверить, что эта постель гораздо лучше пружинных матрацов и пуховых перин моей петербургской квартиры. А простое казачье седло, пахнущее кожей и конским потом, мне приятнее всяких подушек. Днем я копаюсь в своих записках, пытаюсь что-то писать, но ничего не получается. Иг-

раю, вернее, бренчу на гитаре, которую сюда забросила неведомая рука. Избегаю старых, заезженных мотивов, слишком сильно напоминающих о прошлом, а стараюсь сочинить свои. И сейчас же ловлю себя на мысли, что и мои собственные мотивы и слова еще больнее и острее вызывают воспоминания.

Айша в свободные минуты, услышав бренчанье гитары, приходит ко мне и молчаливо садится около меня на скамеечку, обитую козьей шкуркой. В печке горят смолистые пахучие дрова, и угли принимают самые причудливые очертания. Девушке особенно нравится моя песня, вылившаяся как-то сама собой. Это была просто импровизация, под гитару, не записанная на бумаге. Она мне уже давно надоела, но Айша может слушать ее бесконечно.

«Ты сегодня пьешь со мною снова,
Как давно не видел я тебя,
Но не будь так замкнуто-сурова,
Не гляди с упреком на меня,

Ты пойми, что душу отравила
Глаз твоих горячая метель,
Ты пойми, что в них такая сила,
Что ее не пересилит хмель.

Эх, душа похмельная, душая моя больная,
Чудится тебе, что есть еще мечта,
Брось, душа похмельная, глупая, смешная,
Нету ничего, лишь только пустота.

Не ищу давно с тобою встречи,
И один сумею я прожить,
Но порою, в долгий зимний вечер,
Не с кем душу мне расшевелить ...

Ты пойми, что это только вспышки
И вино, и пагубная страсть,
Ты пойми, что люди и людишки
От чего-то все должны пропасть».

Была гроза весения
И яркий летний зной,
И ты была последняя,
Веселая со мной...

Иногда я подвязываю широкие короткие лыжи и скользжу между деревьев в снежную бесконечность. За спиной у меня охотничий штуцер, на всякий случай. Но я не бью никакого зверя. Я слишком затравлен сам, чтобы кого-нибудь трогать. Все звери мне кажутся братьями. Возвращаюсь домой, усталый, наполненный какой-то горькой бодрости одиночества, когда чувствуешь свою молодость и силу и знаешь, что она никому не нужна. Рабданов уже сидит дома и чинит охотничью снасть. Айша, легко скользя по избе в мягких сибирских ичигах, подает на стол дымящуюся миску пельменей Их, по сибирскому обычая, наготовили на зиму и заморозили десятки тысяч.

Старик после ужина ложится на свой войлок, Айша прибирает посуду, я сажусь за письменный стол. На столе керосиновая коптилка, или свеча, озаряет в беспорядке разбросанные листки, книги и портрет женщины в овальной рамке. Я стараюсь не смотреть ей в глаза, потому что знаю: если долго в них смотреть, то нужно будет сейчас же, среди ночи, подвязать охотничьи лыжи и пойти через тысячеверстную тайгу туда, где горят электрические огни и люди бесполезно сжигают себя, ускоряя короткий миг своей жизни. Но меня спасает Айша. Она вырастает за моей спиной, неслышная, как привидение. Часто она просит какую-нибудь книгу... Она окончила сельскую школу, и в ее маленькой библиотечке есть хорошие книги, оставшиеся от покойного отца. Айша читала очень много книг. Но лучше всего она изучила главную и самую важную книгу: священную книгу великой, неповторимой природы. Иногда она приходит просто так, посчдеть около меня, послушать гитару и мое гаунывное пение, или поговорить. Впрочем, говорю больше я, а она внимательно слушает, облокотясь на стол и подперев щеку ладонью.

А ночью я вижу во сне женщину, оставленную мною в Петербурге. Я до боли остро ощущаю ее близость, жаркие руки, обвившие, как лианы, мою шею, опрокинутое небо глаз. Утром, обливаясь ледяной водой, я стараюсь смахнуть с себя липкую паутину сновидений. Айша, как всегда, спокойная и холодная, подает мне полотенце. Я смотрю в ее глаза, подернутые ледяными речными струйками, на ее размеренные, точные движения и невольно сравниваю ее с той, далекой. Какая огромная разница между ее порывистой, жестокой, большой страстью, вспыхивающей внезапным фейерверком и сникающей в беспредельной усталости, и спокойной сдержанностью Айши, за которой чувствуется большая внутренняя сила.

Мне кажется, я начинаю любить эту девушку, выросшую в тайге и, владеющую собой лучше многих, получивших городское воспитание. Она уже не кажется мне примитивом, простушкой, заброшенной в беспросветную глушь. Под ее льдом я чувствую огромный подземный огонь. Но, воспитанная тайгой, она бессознательно умеет скрывать то, что нельзя доверять первому встречному.

И вместе с тем я знаю, что Айша, как и я, страшно одинока, но гордость не позволяет ей заикнуться об этом. В душе моей поднимается большое чувство нежности и жалости к ней. Мне хочется приласкать эту одинокую, замкнутую, гордую девушку, дать ей почувствовать, что она мне сродни. Я тихонько обнимаю ее за шею, стараясь приблизиться губами к ее губам. Я делаю это непроизвольно, охваченный чисто человеческим, дружеским порывом.

Айша легко, не сбрасывает, а снимает мои руки своими маленькими крепкими руками.

— Не надо, — говорит она тихо и открывает дверь в другую комнату. — Потом...

— Почему потом, Айша? Когда?

Она чуть улыбается кончиками губ.

— Когда загорится снег, — говорит она тихо, и бесшумно выскользывает за дверь.

Мне становится смешно. Если ее можно зажечь только тогда, когда начнет гореть снег, то каким-же надо быть вулканом? Меньше всего я способен на такую роль. Сам я кусок севера, частица тайги, правда, откололшаяся, сломленная ложной цивилизацией, но очень далекая от вулканических вспышек.

Вечером, когда Айша возится где-то на дворе, я иду к Рабданову, раскурить цыгарку и поболтать со стариком.

— Рабданыч, — говорю я, полушутя, полусерьезно, — ты видел, как горит снег?

Рабданов, попыхивая трубочкой, поворачивает ко мне широкое скуластое лицо, щурит косые глаза, от которых на виски набегает паутина морщинок.

— Пошто не видал. Быват. Горит снег... Пар идет, дым... шипит, как пельмени варятся.

Старик всегда серьезен. Говорит он мало, но всегда правду. Значит, действительно есть такое явление природы, еще неизвестное людям.

— Когда ж ты это видел?

Вопрос праздный. Рабданов ведет счет годам по ветвям кедра. Ему трудно перевести этот свой счет на общеупринятый язык.

— Давно, еще когда твоя отца маленькая была... У Саяна, где Ия начинатся

Меня это занимает. Почему я, мнивший себя другом тайги, ничего не знаю об этом? Я подхожу к «святая святых» Айши — полке с книгами. Мельком я видел книги ее отца — геолога. Этот предмет никогда не интересовал меня раньше.

О земле я знал только то, что на ней вырастает хлеб и другие съедобные и несъедобные злаки и растения, и что трех аршин ее достаточно, чтобы принять на вечный покой наши грешные кости. Я беру с полки книгу, с надписью «Сибирь и ее богатства» и машинально перелистываю ее...

Случайно натыкаюсь: «На тысячи верст от низовьев Амура, почти до Енисея, по мнению местных геологов, залегают пласти угольных сланцев, способных к само-возгоранию. В 1902 году, около Иркутска, такой под-

земный огонь, показавшийся в трещинах земли, возле Большой Топки, дал повод к разговорам о вулкане. Температура согретой изнутри почвы мешает промерзанию, и, распространяясь под землею, огонь иногда выбивается наружу из-под снега. Вода же, от таяния снега, обращаясь в пар, не в силах залить огонь с громадной внутренней температурой. Так создается «иллюзия» горящего снега»...

Я захлопываю книгу и ставлю ее на место. Сколько лет надо прожить здесь в тайге, чтобы один раз увидеть такое явление. Мне становится грустно. Может быть в этом немного виновата Айша... Кто его знает!

*

Рождество приблизилось как то неожиданно. Я совсем не думал о нем. Но случайно взглянул на календарь, увидел 23 декабря и почувствовал себя бесконечно одиноким и заброшенным. Звериная тоска овала-деля мною.

Не сказав ни слова ни Рабданову, ни Айше, я оделся, собрал в походный мешок все, что нужно в дорогу, закинул за плечи английский штуцер и, всунув ноги в ремни лыж, вышел из дома. Я не знал куда я иду и зачем. Мне было все равно.

Так я шел день, ночь, машинально держась берегов Ии, не чувствуя ни холода, ни голода, ни жажды. Меня гнала вперед какая-то непреодолимая сила и я не мог остановиться, точно будто я хотел уйти от самого себя. Наконец, когда загорелся новый короткий зимний день, я почувствовал, что наступает предел моим силам. Я остановился у поваленной ветром сосны, прислонился к ней и, не снимая рукавиц, неверными скрюченными пальцами отстегнул сумку. В ней была фляга с коньяком и хлеб. Несколько глотков огненной жидкости влили в меня новые силы. И вместе с этой горячей струей, пробежавшей по жилам подобно электрическому току, ко мне пришло сознание бесцельности моих скитаний. Кругом была вековая застывшая ледяная тишина. Тайга поглотила меня и я даже не имел представления в какую сторону мне возвращаться. По лыжным следам? Но их запорошил шедший ночью снег.

Я закусил промерзшим, крепким как дерево хлебом и куском холодной баранины, закурил трубку и стал вглядываться в беспредельную снежную даль. И вдруг, о чудо! Вдали, над деревьями я увидел клубы дыма. Не задумываясь над вопросом, кто мог развести огонь в этой незаселенной местности, куда не заходит даже нога белкующего охотника, я бросился в этом направлении, чувствуя только одно: там спасение. Огромная воля к жизни, стремление во что бы то ни стало выбраться отсюда назад, к людям, к теплу подхлестнула меня. Я стремительно шел к загадочному источнику дыма. Приблизясь, я услышал треск и шипенье... Какое счастье, это несомненно костер, люди... жизнь! Лесная чаща, в которую я снова углубился, внезапно расступилась передо мной, открывая небольшую площадку. Оттуда вдруг неожиданно пахнуло, повеяло горячей струей, словно подул южный ветер. Я остановился и застыл на месте. В нескольких десятках метров от меня, среди редких деревьев... горел снег! Клубы дыма, как пухлая вата, поднимались вверх, пробиваясь сквозь жесткий покров наста. Там и сям в дыму перебегали струйки пламени. Снег, тая, оседал, и с шипением обваливался в огонь, вздымая столбы пара. Горел снег!... Так вот оно спасение!... Это была злая насмешка судьбы. Увидеть это величественное незабываемое зрелище и даже не смох никому рассказать об этом. Разве я мог выбраться отсюда? Я знал, что теперь недалеко Саянские отроги, и что меня ждет смерть...

Я отбросил ненужные лыжи и повалился ничком на жесткий снег.

Еще на меня веяло теплом, доносившимся от подземного огня, но я ясно чувствовал, что она не спасет меня. Все равно, будь что будет. Нужно пересилить малодушие и принять смерть, как последнее благословение супротивной матери-тайги отщепенцу-сыну.

Кто-то чуть чуть дотронулся до моего плеча. Так легко может прикоснуться только ласковый весенний ветер, или рука любящей женщины. Я вздрогнул и вскочил на

ноги. Передо мной стояла Айша, еще запыхавшаяся от быстрого бега. Горло мое точно сдавили стальные клемщи. Пересиливая эту мертвую хватку, я хрипло сказал:

— Айша... Ты... видишь... горит... снег.

Внезапно я почувствовал, что силы вернулись ко мне. Я обхватил девушку за шею, тесно прижимая к себе, и она не отстранила моих рук.

И увидел, как потеплели, оттаивая, ледяные струи Ии в ее глазах, а губы, которые я нашел под мехом шапки-ушанки, горели как снег.

ДУША ЖЕНЩИНЫ

Занавес медленно, словно нехотя, опустился под нескончаемые крики бис, браво и аплодисменты неистовствующей толпы, вызывавшей автора и исполнителей, а Синицын все еще стоял на сцене растерянный, ошеломленный, плохо сознавая что происходит вокруг

— Пойдемте Алексей Васильевич, — устало сказала премьерша, Анна Николаевна, освобождая свою маленькую сильно надушенную руку, которую он совершенно бесцельно продолжал держать в своей руке.

— Ну пойдемте же, фу, какой вы, право! — повторила она почти насилино увлекая его со сцены. — Что вам еще нужно? Такой колоссальный успех редко выпадает на долю молодых драматургов, а вы все какой-то кисленький. Или, быть может, я плохо играла?

— Нет, родная моя, — встрепенулся Синицын. — Что вы, наоборот. Я не мог даже себе представить, что можно так тонко передать мысль автора, дать именно тот тип... Нет, нет... Я только вам одной обязан своим успехом.

За кулисами театра их окружила шумная толпа актеров и служащих театра.

Синицын растерянно принимал поздравления, сыпавшиеся со всех сторон, пожимал чьи-то руки.

Маленький комик Мухин, сильно подвыпивший, почему-то лез целоваться, путая имя Синицына и называл его Мишой.

Седеющий критик, в пенсне, с бородкой а ла Чехов, дружески фамильярно взял Синицына под руку и отвел в сторонку.

— Прекрасно, дорогой мой, прекрасно — говорил он, растягивая слова и чуть картавя. — Ваша Елена, — сочный, великолепно схваченный тип современной женщины, пренебрегающей всеми устоями брака, семьи, вечно ищущей острой новизны, быстрой смены красок, настроений. Она — существо глубоко-аморальное... Она живет не сердцем, не душой, а именно этой быстрой, почти калейдоскопической сменой впечатлений — чисто чувственных восприятий. Эта сцена в третьем действии, где ваша героиня, только что бросившая мужа, с такой же удивительной легкостью бросает и своего нового духовно богатого друга, уходя к пошлому ничтожеству, только из-за его эффектной внешности — удивительно жизненна и глубоко психологична. И какое удачное название пьесы: душа женщины! Сколько в нем горькой иронии!...

Синицын рассеянно слушал знаменитого критика. Он думал о той, чье имя невидимо красовалось сегодня на всех афишах, чья душа, обнаженная, вскрытая им точно ножем вивисектора, предстала перед бурно аплодирующим залом. Думал об отошедшей в вечность любви, жалкие осколки которой он силой таланта вложил в свою пьесу и бросил ее сегодня в лицо всем этим нарядно разодетым женщинам, как пощечину, как месть за чужую вину.

Была-ли Елена? Может быть она тоже сидела на своем обычном месте, на их месте — средней ложе и видела, вспоминала...

Нет, вряд-ли... Это было так давно... Она уехала тогда, забыла...

С тех пор прошло почти два года... Больше даже.

— Вам приказано передать.

Пожилой капельдинер с тщательно расчесанными старомодными баками, почтительно кланяясь подал Синицыну букет алых роз и маленький, надушенный, несколько раз сложенный листочек.

Синицын небрежно бросил букет на бутафорский сто-

лик и нехотя принял записку, оторвавшую его от мыслей о самом дорогом когда-то человеке. О как он был далек от всяких случайных интриг и знакомств в эту горькую минуту торжества творчества на могиле чувства. И кто ему может писать? Вероятно, какая-нибудь театральная психопатка, бегающая за сладкогласными тенорами и первыми любовниками, случайно плененная молниеносной славой молодого драматурга.

С неприятным чувством скуки и брезгливости он развернул надушенный листок. В нем, карандашом, торопливым, скачущим и таким знакомым ему женским почерком было написано.

— Милый друг. Я пришла посмотреть «вашу пьесу» и «историю моей души». Поздравляю с успехом. У вас громадный талант, но, очевидно, его недостаточно для того, чтобы понять душу женщины, которую вы так мастерски нарисовали. Может быть вы и правы во всем, кроме одной маленькой и совсем незначительной детали, мелочи, на которую не обратили внимания ни в жизни, ни в пьесе: я всегда любила и, быть может, люблю еще только вас одного, но анализируя, вскрывая, ища чего-то «главного» вы забыли об этой «ненужной детали» женской души. Неужели вы, такой тонкий и чуткий психолог не могли понять, что анализ злейший враг всякого чувства. Любить не думая — самое трудное искусство, доступное немногим. Не сердитесь, не волнуйтесь и не ищите... Поздно.

Елена.

Неимоверным усилием воли Синицын подавил охватившее его волнение. Машинально-любезно простившись с критиком и артистами он оделся и боковым выходом, обойдя зрительный зал спустился в фойе.

В вестибюле, несмотря на то, что большая часть публики успела уже склынуть, было людно и шумно. Синицына узнали. По толпе пронесся сдержаный шепот. Сотни любопытных глаз — дамских лорнетов, моноклей пшиотов, очков и пенсне — устремились на него.

А он шел к выходу мимо расступившейся, кланяющейся толпы, никого не узнавая, не отвечая на поклоны, постаревший, сгорбленный, точно будто записка с роковым словом «поздно», которую он судорожно комкал в кармане пальто, огромною тяжестью тянула его к земле.

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Кто сказал, что воспоминания — радость. Воспоминания оскорбительны.

Если они о приятном — ничего не заставит нас примириться с тем, что прошлое не повторяется. Это пощечина судьбы. Чем лучше прошлое, тем больнее воспоминания.

*

Буддизм — величайшая религия мира. Но ее значение не в том нестерпимо ярком сиянии мудрости, от которого люди не жмурятся только потому, что не понимают его, а в одном слове, звучащем, как неощутимая музыка. Впрочем, и музыка груба для этого слова, дающего несравненное право: не помнить.

Нирвана.

Я хочу рассказать о человеке, испытавшем радость забвения. Он никогда не стремился к этому, и так как все случилось помимо его воли, то не мог даже осознать огромного значения этой радости.

Маленький осколок шрапNELи, удачно царапнувший по голове, сразу избавил его мозг от излишнего груза воспоминаний. Другие осколки, попавшие менее удачно, лишили его сознания и сделали неощутимым этот переход в живое небытие.

Он не стал безименной жертвой войны. Благодарная история сохранила его имя и звание: капитан генерального штаба Савицкий, прикомандированный для связи к штабу Н-ской французской армии. Спасенный им начальник, полковник Ренье, позаботился о сохранении его имени, ставшего для Савицкого пустым звуком. Об этом он узнал несколько недель спустя, в военном госпитале в Париже. Одновременно он узнал все подробности совершенного им подвига и... свою националь-

ность. Кроме этих официальных сведений, никто из его коллег по палате, французских офицеров, не мог ему ничего сообщить.

Он был слишком тяжело ранен, чтобы обратить внимание на такое маловажное явление, как потеря памяти. Все его ощущения резко делились на две части: физическую боль и временное избавление от нее. Боль атрофировала работу мозга. А когда она утихала — приходил сон, и наступало состояние полного бездумного покоя.

*

Он вышел из военного госпиталя имея при себе несколько сот франков, собранных по подписке персоналом и более состоятельными коллегами по палате. Это был жест великодушия бывших союзников, вызванный еще не остывшим через год после заключения мира энтузиазмом. Кроме того, он слишком долго лежал в госпитале — и все свыкались с ним настолько, что перестали считать за иностранца. И меньше всего он считал им себя сам.

Маленький осколок шрапNELи, величиной не более горошины, задел какие-то таинственные для нас клеточки и излучины мозга, и с этого момента все бывшее с ним раньше перестало существовать. Операция, блестяще проведенная знаменитым хирургом, сохранила ему жизнь. Он выздоравливал медленно и трудно, а потому и не был отправлен на родину вместе с эшелонами взбунтовавшихся частей экспедиционного корпуса генерала Лохвицкого, в списках которого состоял.

Вероятно, он был также единственным русским офицером, равнодушно встретившим известие о брестском мире. Все новости как-то скользили по нему, ни за что не зацепляясь, ни на чем не задерживаясь. Но вместе с тем окружающие предметы не казались ему совершенно новыми, странными, какими они кажутся ребенку. Он просто припоминал их, медленно, постепенно, как человек, проснувшийся после долгого, тяжелого сна. Но самым значительным было то, что он совершенно забыл свой родной язык, в то же самое время сохранив французский, на котором говорил по необхо-

димости в течение последних лет. Конечно, если бы он лежал в русском госпитале, этого бы не случилось.

Первое время его отнюдь не тяготило отсутствие памяти. Впоследствии он стал ощущать какое-то смутное неудобство, странное беспокойство, причины которого не были ему понятны.

Разговаривая с соседями по койке, он узнавал политические события, подробности своего ранения, все то, что было для него покрыто непроницаемым туманом. Он осторожно выведывал у своих собеседников интересующие его подробности, боясь показаться ненормальным. Это было странное ощущение какого-то пробела, который надо во что-бы то ни стало заполнить. Так же случайно он узнал чрезвычайно озадачившую его вещь: то, что он русский.

Он долго пытался припомнить что-нибудь из этого отрезка своей жизни, но это не привело ни к чему, и в конце концов, он свыкся с невозможностью восстановления этого пробела.

Его поведение никому не казалось странным. Война, породившая несметное количество слепых, глухих, глухонемых и сумасшедших, понизила до минимума требования, предъявляемые к человеку. Он был прекрасный товарищ, безукоризненно говорил по-французски и имел ленточку Почетного Легиона. Этого было достаточно.

Спасение им раненого полковника Ренье из сферы огня неприятельских батарей, окружило его имя ореолом рыцарства.

В шутку его прозвали: «Человек без воспоминаний».

Очень многие дорого заплатили бы за то, чтобы действительно ничего не помнить.

Но судьба дала эту радость не им, а тому, кто мог вспомнить все без слез сожаления и горечи раскаяния: образ девушки, ставшей женой другого, оставался светлым и неомраченным, потому что он любил ее даже чужою.

Но этот образ, вместе со всем его прошлым остался на марсских полях, смешавшись с грязью и кровью.

Полковник Ренье не был неблагодарным человеком. Правда, увлеченный налаживанием запущенного во время войны хозяйства в тихой южной провинции, он как-то не думал о русском офицере, спасшем ему жизнь.

Объезжая на рассвете свои поля, зазеленевшие первыми весенними всходами, он радостно чувствовал, что, наконец, кончена война, что он жив и может продолжать свою привычную работу. Иногда, остановив по водом коня и любуясь с какого-нибудь пригорка видом знакомой местности, он ловил себя на мыслях стратегического свойства: где здесь можно расположить батареи, как должна проходить линия окопов и какие меры следовало бы принять при данной обстановке на случай флангового обхвата неприятеля.

И тут же с улыбкой вспоминал, что ничего этого не надо...

И вот, в одно из таких утр полковник Ренье вспомнил раненого товарища, давшего ему возможность сажать виноград, рыть оросительные канавы и играть по вечерам в шахматы с кюре. Ему стало стыдно, что он до сих пор еще не поинтересовался его судьбой. Он немедленно написал в Париж, в госпиталь, прося сообщить, в каком положении капитан Савицкий. Несомненно он должен пригласить его к себе в имение.

Ответ, полученный через несколько дней, озадачил полковника. В нем кратко сообщалось о том, что капитан русской службы Савицкий оправился от ран и подлежит выписке, но вследствие сильной головной контузии у него частичная атрофия памяти. Впрочем, следовала приписка, эта атрофия не отразилась на умственных способностях капитана, и выражается только провалом в памяти за определенный период. Врачи надеются, что это современем пройдет.

Подумав, полковник решил лично съездить в Париж.

*

Савицкий шел по солнечным, весенним бульварам Парижа, жадно всем существом впитывая полузабытую жизнь.

Голова кружилась от весеннего воздуха, грохота проносящихся автомобилей. Смешавшись с толпой, он почувствовал, что отвык от нее, не может, как прежде, ситься с нею, стать нераздельной частью ее движения, ее многоликой души.

Но это мало беспокоило его. Было какое-то ощущение наблюдающего со стороны. Без презрительной усмешки, горечи и даже иронии.

Тело воспринимало жизнь остро и напряженно, как неведомое наслаждение, не дающее времени вдумываться в него.

Пахло цветами, бензинным перегаром и женщинами. Как давно он не видел женщин. Именно таких: дразнящих и вызывающих, смеющихся, нарядных, зовущих взглядами, улыбками, шелестом шелков, неуловимым томлением, исходящем от них в эти буйные весенние дни.

Он был силен и молод, несмотря на все ранения. Его высокая, стройная фигура в полувоенной форме английского покроя, с ленточкой Почетного Легиона в петлице привлекала внимание. Женщины скользили по нему глазами, улыбались призывающими и нагло, оценивая его красивое бледное лицо, и уверенную спокойную силу, чувствовавшуюся в каждом движении.

Маленькая блондинка, одетая со скромным изяществом, удивленно вскинула глаза на проходившего и остановилась. Он тоже остановился, немного смущенный ее пристальным взглядом, непохожим на остальные.

— Ты... ты здесь в Париже?

Ее взволнованный голос наполнил все его существо как-то смутной тревогой, но слова на незнакомом языке не сказали ему ничего. Ему показалось, что она пьяна, и тревога уступила место чувству покровительской небрежности с которой принято говорить с уличными женщинами:

— Что с тобой, малютка? Ты нездорова? Или, может быть, приняла меня за кого-нибудь другого? — спросил он по французски.

И сейчас же заметил, как потускнело ее лицо, превра-

тившись в равнодушную, привычно улыбающуюся маску.

— Пойдем..

И он пошел за ней, опьяненный весенним днем, изголодавшийся без женщины...

Она что-то говорила — он не вслушивался в этот птичий щебет, которым уличные женщины прикрывают опустошенное безмолвие души.

В вагоне подземной дороги было полутемно и прохладно. Его мало интересовало, куда они едут. Все его существоство было наполнено острым, долго сдерживаемым желанием. Казалось, что эта сила заражала и женщину, привыкшую к равнодушным, презрительно ласкам случайных встреч.

Они вышли у Северной заставы Парижа. На улице их охватила идиллическая провинциальная тишина пустынного квартала, такого странного после буйного движения центра. Женщина любила этот уединенный островок тишины, чем-то неуловимо напоминавший ей старый русский уездный город. Сейчас это настроение усиливалось тем, что ее спутник был похож на потерянного ею близкого человека. Она вглядывалась в его лицо, стараясь не думать о том, что он такой же случайный, как и все, кто провожает ее этой дорогой. Так же, как и все, он поднимется к ней в комнату, равнодушно посмотрит на стены со старыми фотографиями «оттуда» и нетерпеливо обнимет ее, чтобы не терять дорогого в наши дни времени.

Он долго ласкал ее с радостью молодого животного, а она, закрыв глаза, думала о другом, которого столько лет страстно желала встретить. Открывая их, видела перед собой до боли знакомое лицо, и в страстное томление острой иглой входила мысль, что это именно «он» видит ее такой, как она есть, какой сделали ее эти страшные годы ..

Неужели может быть такое мучительное сходство? Конечно, это был не он.

Неужели Алексей, любивший ее даже и тогда, когда она стала женой другого, не узнал бы ее сейчас? Ведь она, с ее до боли опустевшей, обесцененной душой, в

сущности так мало переменилась. Годы, смявшие тяжелым колесом, все, что было ценнего, не коснулись ее внешности.

— Как тебя зовут?

Он улыбнулся. Ему было странно назвать чужое, не звучавшее для него ничем имя: Алексей Савицкий. Дикое сочетание букв на тарабарском наречии... И что-то подсказывало ему, что именно здесь он не должен называть его.

— Меня зовут... Человек без воспоминаний. Другого имени у меня нет.

— Человек без воспоминаний.

Она рассмеялась, но глаза оставались попрежнему грустными.

— Какое странное имя... Кто-же тебя так назвал?

— Они... все. — Он сделал неопределенный жест. И потом добавил:

— Я ведь, и, правда, ничего не помню. Контузия.

Она закрыла глаза рукою, как бы заслоняясь от внезапного яркого света, хотя в комнате был полумрак и лишь через верхнюю часть окна виднелось серо-синее, потускневшее небо.

— А это хорошо... не помнить?

— Не знаю. — Он виновато улыбнулся, как бы оправдываясь за это незнание.

— Да, да... Это очень хорошо. И ты действительно ничего не помнишь? Точно будто никогда ничего не было?

Она с удивлением разглядывала его, завидуя его спокойствию.

— И сейчас, когда уйдешь от меня, тоже ничего не будешь помнить... ни меня, ни этой комнаты?

Он оглянулся, как бы пробуя, может ли он запомнить все окружающее.

— Не знаю, впрочем, нет, теперь я начинаю запоминать... я не помню того, что было раньше.

— Ничего?

— Ничего.

— Может быть, так действительно лучше.

— В госпитале мне тоже так говорили. Иногда мне

казалось... я долго пытался... потом бросил. Это му-
чительно.

— Поцелуй меня, человек без воспоминаний. Я тоже
хотела бы не помнить. Впрочем, теперь уже все равно.
Все так пусто, что и помнить то нечего.

Она прижалась к нему, полуодетая с растрепавши-
мися, раскинутыми по кружеву подушки золотыми
брзыгами волос.

— Хочешь, я зажгу огонь. Как это было там... у нас
в имении.

Незаметно для себя она начала говорить с ним, как
будто он был тот другой...

Он приподнялся на локте.

— В каком имении? Где, когда?

— Нет, нет, ничего. Это я так... фантазирую. Это
было не с тобой. Он убит, или наверно замучен. Почему
ты не спрашиваешь меня, как это случилось со мной в
первый раз? Впрочем, вы, французы, этого не спраши-
ваете...

Внезапно она вздрогнула, точно пронизанная на-
сквозь простой; но почему-то до сих пор не приходив-
шей в голову мыслью. А что, если он...

— Послушай... ты кто?

В ее тоне было что-то, заставившее его отложить в
сторону закуренную сигарету и внимательно посмо-
треть на нее.

— Я же сказал... человек без воспоминаний.

— Да нет же, я не про это... ты француз?

Она застыла в напряженном ожидании, вглядываясь
в его лицо: не дрогнет ли.

Он уловил эту напряженность, хотя не понимал, по-
чему ее волнует этот вопрос. Не все ли ей равно, кто
он? Но почему-то, вспомнив, что в госпитале его назы-
вали русским, он остро подсознанием почувствовал, что
говорить ей этого не надо, что если он скажет — слу-
чится что-то больное и непоправимое. И от этой не-
определенной, неоформленной и потому тяжелой, да-
вящей мысли ему стало неприятно и тоскливо. Он за-
крыл глаза, чтобы не встречаться со смущавшим его
взглядом женщины и отвернулся.

— Ты француз? — настойчиво переспросила она.

— Да... — он принужденно улыбнулся, не глядя на нее.

И хотя это короткое отрывистое слово разрушило все ее предположения, инстинкт подсказал ей, что это именно он, изменившийся, странный, но все же именно он, близкий, свой родной...

Она похолодела от мысли, что он узнал ее, и не хочет видеть такой, какой она стала теперь, но сейчас же отбросила эту мысль. Нет, так он не мог измениться.

Женщина беззвучно рассмеялась. Это было все, чем она могла выразить беспредельность своей муки, которую давно уже ничто не могло облегчить.

Вздор... Разве нельзя было преодолеть всего, оставаясь чистой?

Кто знает, через какие испытания ей пришлось пройти? Да и кому это надо знать? Тем, кто к ней приходят? А разве он, узнав, поймет и простит?

Нет, пусть лучше он уйдет, как все, таким, каким он пришел к ней.

И если ему суждено вспомнить — то память о ней будет светлой и неомраченной.

*

Полковник Ренье, начинавший уже чувствовать себя закоренелым провинциалом, с радостью окунулся в весенний Париж, вспомнив Сен-Сир и беспечные юношеские годы. Вдобавок, он был сильным, здоровым мужчиной около пятидесяти лет, уцелевшим от физических и душевных потрясений войны.

Она была чудесна, эта маленькая русская, встреченная им на рю д'Опера. Не очень молодая, но и не потасканная. Немного грустная, но и не настолько, чтобы это портило настроение. У нее были чудесные манеры, говорящие о былой лучшей жизни, воспоминания о которой не могли вытравить ни полуголодное изгнание, ни ее профессия.

Они сидели за отдельным столиком ночного ресторана, а кругом скользили танцующие пары, сплетаясь в телодвижениях танца, скорее походившего на массовое радение.

Полковник Ренье очень долго не видел женщин. Ему было трудно говорить со своей спутницей. Он отвык от болтовни, и вместе с тем был слишком чуток, чтобы говорить этой маленькой грустной женщине обычные пошлости, неудобные при настоящем положении. Он вспомнил своего русского друга и счел удобным коснуться этой темы.

— Мой русский друг... Мой спаситель. Мы были с ним очень дружны... Марна, Сомма и Луара... Вогезы...

Вино подогрело воспоминания, и полковник Ренье рассказывал, извлекая с успокоившегося дна прошлого похороненные и забытые обломки.

Оркестр играл тягучее танго, в котором так странно переплеталось томление эротического экстаза с предсмертной тоской обреченност... И под эту грустную музыку, почти не слушая Ренье, женщина думала о вечном, неизбежном и неотвратимом: о любви и смерти. О тех странных путях, по которым идут эти неизменные спутники нашей жизни... И о человеке, потерявшем свое прошлое... забывшем все... даже ее...

— Алексей де Савицки...

Она вздрогнула. Кто это сказал? Она не ожидала, чтобы кто-нибудь здесь сейчас мог произнести это имя. Его нет больше и не может быть... Неужели она начала бредить?

Танго оборвалось на нежной, тающей, дрожащей ноте...

— Алексей Савицкий, — машинально повторила она вслух и, закрыв глаза, откинулась на спинку кресла.

Ренье выплыл из потока воспоминаний.

— Что с вами? Вам плохо?

— Нет, ничего. Она с усилием раскрыла глаза. — Вы рассказывали о боях в Вогезах. Продолжайте... Это так интересно...

— В Вогезах? Но он давно уже рассказал об этом и перешел к истории Алексиса де Савицки... Конечно, она его не слушала. Мысленно он выругал себя за излишние сантименты. Что за глупая манера, рассказы-

вать первым встречным женщинам о военных переживаниях... Мальчишество!

— Дорогая крошка... вам надоела моя болтовня. Поэтому вы и не слушали ее. Не протестуйте. Я никакого не в претензии. Я понимаю, что теперь лучше не вспоминать о войне и смерти. Будем лучше говорить о любви. Ваше здоровье!

И взяв бокал, он добавил:

А я думал, что вас может заинтересовать судьба компатриота, моего друга... Хотя бы потому уже, что он не может, так, как мы с вами, сделать экскурсию в область прошлого.

Бокал задрожал в ее руке, и вино потекло на скатерть, расплываясь на белой поверхности желтым пятном...

— Простите...

— Но я вижу, вам действительно плохо. Понимаю. Не будем говорить о прошлом. Я не хотел причинить вам боли. Давайте думать лучше, что мы обо всем забыли, как...

Она заставила себя улыбнуться:

— Как ваш друг? Человек без воспоминаний?

— Совершенно верно. Я думаю, нам пора. На свежем воздухе вам станет лучше... Или мы возьмем такси.

*

В эту тихую весеннюю ночь, когда все живое в огромном городе было наполнено томлением любви, грусти и воспоминаний, он был, вероятно, единственным человеком, забывшим прошлое и не знавшим настоящего. В силу привычки он думал, но мысли, приходящие ему в голову, имели какой-то хаотический, бесформенный вид, напоминавший скорее бред, чем логический процесс мышления.

Он забыл о данном ему в госпитале адресе, где мог остановиться. Женщина, у которой он недаво был, расплылась в сознании мутным пятном.

Он бесцельно бродил по бульварам, кишевшим влюбленными парочками.

Никто не обращал на него внимания. Только когда он задержался на мосту и несколько минут смотрел на

черную воду Сены, с прыгающими по ней огнями, к нему подошел ажан и, козырнув, попросил предъявить документы.

Впрочем, ажан, тут же заметил при свете фонаря ленточку Почетного Легиона и успокоенный козырнул еще вежливее, добавив вскользь что-то о самоубийцах и подозрительных личностях и о том, как трудно уследить за всем этим.

Савицкий дал ему сигарету и пошел дальше, забыв о привлекшей его внимание реке и отраженных в ней огнях.

Когда он переходил улицу, то заметил вдалеке два набегавших на него из темноты желтых автомобильных глаза.

Почему то они привлекли его внимание. Он остановился и стал всматриваться, не отдавая себе отчета в том, что стоит посреди дороги.

В этих приближающихся, постепенно вырастающих желтых глазах было что-то притягивающее.

Они рождали мутное воспоминание обо всем потерянном, протягивали какую-то неуловимую нить к прошлому. И вглядываясь в них, он впервые ощущил странную, острую, щемящую грусть, ту самую грусть, которая приходит к нам, когда мы вспоминаем о том, что было и никогда не вернется.

Это неведомое ощущение потрясло его до слез, до сладко мучительного клубка в горле, до заглушенного рыдания.

И вслед за этим сразу, как в прорванную бешеным потоком плотину, на него хлынули отошедшие годы, месяцы, недели, дни, минуты, города, лица, события.

И самое яркое из всего: два желтых паровозных глаза...

Два желтых огня, мутная сталь рельс и прижавшаяся к нему женщина, которую он оставлял навсегда.

А дальше... фронт, экспедиционный корпус, Сомма и Луара, Вогезы, Марна, полковник Ренье, госпиталь.. . все вплоть до сегодняшнего вечера, до тихой комнаты на окраине Парижа, до грустной женщины — той самой — о Боже, той самой!..

Он стоял, придавленный этой непомерной тяжестью, обрушившейся на него сразу.

А желтые глаза надвигались... ему казалось, те, паровозные... Да, да, — конечно, это тот самый паровоз. Он прорвался к нему из мрака прошлого и сейчас раздавит его. Это — то прошлое, которое он забыл.

Только несколько секунд отделяло его от желтых набегающих огней.

Только несколько коротких мгновений промелькнули с тех пор, как они появились.

А ему казалось — прошли годы, вернее, ничто не прерывалось с той последней ночи. Было ощущение, что все эти прошедшие пять лет он шел среди тумана, вдоль тускло блестевших рельс, навстречу неотвратимым желтым огням. И вот они, наконец, перед ним, вплотную...

И он уже не может отойти в сторону...

Два ярких спона лучей ослепили его.

Два желтых глаза и женщина — Боже мой, та самая!...

Что-то огромное, черное, неизбежное навалилось на него стальной грудью, швырнуло, подмяло под себя...

Он больше ничего не помнил...

На запотевшем переднем стекле автомобиля, как на экране, на мгновенье возникла черная тень. И, прежде чем шофер успел о ней подумать, машина наткнулась на что-то мягкое, мешавшее ее движению; она навалилась на препятствие стальной грудью и, слегка дрогнув, задребезжав стеклами, отшвырнула посторонний предмет. Затем, повинуясь тормозу, остановилась.

— В чем дело? Катастрофа? — спросил встревоженный Ренье, освобождая руку, обнимавшую женщину.

— Человек, — угрюмо ответил шофер. — Так они всегда.

— Боже мой, Боже мой! Надо скорее ему помочь, — сказала женщина по русски, не отдавая себе отчета в том, что ее никто не понимает.

Они выскошли из машины.

В этот поздний час случай на пустынном бульваре не собрал обычной толпы зрителей. Впрочем, это была ведь только незначительная дробь в общем непрерывном ходе больших чисел: убийств, грабежей, насилий, краж и самоубийств.

Полковник Ренье, женщина и равнодушно-исполнительный ажан — только эти трое склонились над человеком без воспоминаний.

Двое узнали его и с похолодевшими сердцами смотрели, как третий, по инструкции, рылся в карманах в поисках документов.

Был еще четвертый — шофер. Но номер его машины уже значился в записной книжке ажана, увеличив собою каббалистическую цифру полицейской хроники. Поэтому шофер стоял в стороне, размышляя о последствиях.

— Капитан Савицки, — медленно прочел полицейский, найдя документ.

Это имя, произнесенное вслух, сразу разрушило смутную надежду на случайное совпадение.

— Ты, ты... Алексей!

И женщина, та самая, ничком упала на неподвижное тело, точно желая заслонить мертвого от последних воспоминаний.

КОВЕР

Я помню отлично: это началось именно в тот день, когда казаки подарили мне кожу змеи, убитой ими в долине Гердык. Довольно странный подарок этот я немедленно, не давая ему засохнуть, натянул на свою кавказскую шашку и долго любовался разноцветными треугольными чешуйками, переливавшимися на солнце. Мой вестовой, бурят Доржий Турба, наблюдая за мной, укоризненно покачал головой, сузил и без того едва заметные щелки раскосых глаз и спросил:

— Ты пошто, нохор (земляк) змея на клинок надел? Змея нехорош: худой женщина к себе приклеил. В Петербурге у тебя «байна тулугушта есть (хорошая девушка есть), а тепер «байна тулугушта» — уге (пропадет).

Он долго еще распространялся на эту тему, путая русские слова с бурятскими, курил маленькую, насквозь прокопченую трубку, сплевывая как-то вкось, и качал головой, в такт своему невнятному бормотанью.

Я слишком любил Турбу, чтобы сердиться на его пророчества: он был истинным другом—честным и самоотверженным, никогда не болтался в обозе—любимом местиопребывании всех денщиков,—а всегда был со мной; много раз его острые, как у рыси, глазки спасали меня и других от неминуемой пули курда. Я привык к его маленькой комичной фигуре с кривыми ногами, к бабьему широкому лицу, тарелкой. Когда он садился у моей палатки, поджав под себя ноги, как шаман на молитве, в мой памяти вставали смутные отрывки детства: большой отцовский кабинет, — весь в коврах и звериных шкурах, — увешанный оружием, и в углу, влево от письменного стола, маленький шкафчик красного дерева. Сам по себе шкафчик ничем не отличался от другой

мебели, но на нем, под большим грубым стеклянным колпаком, было нечто, привлекавшее мое детское внимание: великолепная коллекция бронзовых бонз, вывезенных отцом из Монголии.

*

В тот же день, когда я получил в подарок кожу змеи, я поехал по делам службы в городок Гюльпашан, находившийся в 11 верстах от стоянки моей сотни и результатом этой поездки явилось то, что я вернулся со старым персидским ковром и... совершенно незнакомой мне женщиной. Когда я вспоминаю теперь эту историю, она представляется мне совсем в ином свете. Змеинная шкура на шашке, случайная покупка ковра и появление в моей палатке странного полудикого существа женского пола — события, по существу, разнородные, не имеющие между собой никакой связи. Естественно, что я не обратил тогда внимания на все случившееся; я был слишком молод и беззаботен, для того, чтобы искать причинную связь между отдельными случайностями и окутывать их дымкой мистицизма. Турба, как выяснилось позднее, был иного мнения. Ковер он встретил презрительным ворчанием:

— Ты пошто барахла в юрту натащил? Бурки есть, одеял есть, доха есть, — хватат барахла.

Появление же смуглой айсорки его искренне возмутило. Я от души посмеялся над строгим блюстителем моей нравственности и... жестоко раскаялся. Но об этом потом...

Не помню, как я, проезжая по Гюльпашанскому базару, очутился под навесом лавченки старого перса в вишневом халате, с лицом, напоминающим древних халдейских мудрецов.

Это был настоящий склад всевозможного хлама, в перемешку с редкостными вещами, которым мог бы завидовать любой истинный антиквар. Наряду с грубыми терракотовыми статуэтками, на полках стояли редкостные экземпляры старинной бронзы; лубочные олографии чередовались с потускневшими от древности картинами, а яркие дешевые материи — предмет восторгов персиянок — дисгармонировали с тонкими,

блеклыми узорами ковров, по которым, быть может ступал сам Великий Пророк.

В противоположность юрким грекам, армянам и айсорам, хватающим за фалды покупателей, старый перс был совершенно невозмутим и спокоен будто он являлся посторонним созерцателем, а не хозяином лавки. Он ничего не предлагал, не расхваливал, хотя вежливо отвечал на вопросы. И почему-то мне сразу бросился в глаза один небольшой ковер, небрежно привешенный в самом заднем углу лавки. В нем не было ничего бьющего в глаза — наоборот, он был так тускл и непригляден, что совершенно терялся в общей гамме ярких края-сок. Единственное, что в нем могло привлечь внимание — это большое, темное пятно в его левом верхнем углу, но это обстоятельство вряд ли говорило в пользу ковра. Тем не менее, я долго смотрел именно на это пятно, и, почти машинально, спросил о цене.

— Яман ковер (некоторый ковер), — сказал перс, и я почувствовал на себе хмурый, почти враждебный взгляд. — Не надо купить его, — дурной душа в нем — кровь.

— Яман, — повторил он еще раз и нахмурился
— Душа ковра! Что за идиотство!

Я расхохотался и, несмотря на упорство старого перса, все-таки купил ковер, заплатив за него довольно высокую цену. Я мало понимал в коврах и, в простоте души, предпочитал свеженькие, яркие рисунки благородной матовой блеклости старины. Поэтому свое новое приобретенье я сам мысленно назвал хламом. годным только на подстилку в палатку.

Йок попалась мне на обратной дороге, далеко от города. Я залюбовался ее смуглым, тонким лицом, стройной фигурой и живописным костюмом. — странной смесью азиатчины с европейским.

О чём мы говорили? Разве мы могли говорить о чём-нибудь, когда я по персидски знал только три слова: йок (нет), яман (плохо) и еще одно неудобопроизносимое, которое употреблял в редких случаях, для увещевания Турбы. Лексикон не из богатых! Моя новая знакомая еще меньше знала по русски — короче говоря, на

все мои расспросы она отрицательно качала головой и произносила только одно гортанное: «Йок».

И я прозвал ее — Йок.

Она очутилась в моей палатке и осталась в ней, без особого, признаться, приглашения с моей стороны. Увлекся ли я действительно, или меня просто забавляло это происшествие, но только я тоже не особенно старался избавиться от непрошенной гости. Делать было решительно нечего, начальство приезжало редко; экспедиции в горы, для ловли курдов, прекратились и общество Йок пришлось как раз кстати.

По вечерам, когда несносный зной уступал место прозрачным и свежим сумеркам, мы седлали коней и ездили в горы. Как твердо и легко держалась Йок в седле. Я никогда не мог представить, чтобы женщина могла так бешено и бесстрашно ездить. Мой бурый Монгол — этот дьявол в лошадиной шкуре, бившийся всеми четырьмя ногами, обреченный за буйный нрав на вечное хождение под выюком, относился к Йок явно дружелюбно. Он даже стал проявлять некоторое смирение; по крайней мере, на прогулках не пытался больше укусить мою рыжую персидскую «Фатиму», а скромно ступал рядом, слегка пригнув книзу, по обычаям всех монголов, свою большую кудлатую морду. А когда мы возвращались с прогулки, Турба подавал нам незатейливый ужин — жареную баранину, которую он презрительно называл — старой падлой. Турба, как истый забайкалец, не мог простить местным овцам их худобу и малорослость. Зато длинные пресные лепешки — лаваш, носившие у казаков непоэтическое название «солдатских портянок», заменявшие им хлеб, были ему по вкусу.

Потом, мы пили крепкий, пахнущий веником, чай, приправленный козьим молоком, и забирались в палатку. В щели проникал тонкий лучик луны, серебряя черные, распущенные косы Йок и мягко стлался по ковру. И, странно! — узоры его, блеклые днем, — точно оживали. В них была какая-то жуть. Точно в палатке, помимо нас двоих, присутствовал невидимо кто-то третий... Прижимаясь к Йок, чувствуя на себе ее дыха-

ние, я не мог отделаться от этой мысли. Она меня не пугала, нет, но заволакивала сознание, делала безвольным, невластным над собой, как опиум сковывала тело.

А со двора доносились тягучее, монотонное, как при чтанья старой колдуньи, пение Турбы, сидящего на корточках у костра.

— Ши наме, серчон хиле, зорген . . .

И мне казалось, что я дикий кочевник-монгол, забившийся в юрту. Днем я машинально вершил обычные дела: устраивал повегу, бранился с фуражиром и капитенармусом, ходил на уборки, но делая все это скучное и обыденное, я знал, что ночью будет снова яркие губы Йок, ее глаза, неподвижные, странные глаза сомнамбулы, и это сладкое безволие мысли и тела.

Это продолжалось с неделю. А потом наступила скука. . . Скука сменилась пыткой:

Я не знал, куда мне уйти от Йок!

Турба ходил мрачный, как бурятский Гамлет, казаки посмеивались, и меня это бесило.

Бесцеремоннее других оказался мой близкий друг, хорунжий Кайдалов. Он просто влез без всяких предложений в палатку и, схватив Йок за подбородок, сказал:

— Ага, вот она, твоя «елка-палка»!

Это меня взбесило окончательно. Я схватил нагайку, но Йок предупредила меня. Легким, но сильным движением она оттолкнула хорунжего, произнеся при этом то самое слово, из моего персидского лексикона, которое я избегал говорить.

Я стал пропадать из дома. Спозаранку уезжал в горы винтовкой. Это не помогало. Йок, потихоньку от Гурбы, седлала Монгола и находила меня везде, куда бы я ни заехал. Ее тихая покорность первых дней сменилась бешенством. Она ходила за мной всюду и чуть не убила Турбу, когда он раз вздумал остановить ее. Ночи сделались каким-то бредом. Утомленный дикими, злобными ласками Йок, я засыпал с тяжелой головой, — стыдно сознаться, — держа в руке нагайку и положив под подушку револьвер; просыпался от каждого шороха, и вскакивал, как сумасшедший.

Мне снились дикие сны наяву: Йок, выходящая из

узора ковра, из того самого левого угла, с проклятым темным пятном. Ковер и Йок слились в моем воображении, как нечто целое, и думая о ковре, я не мог представить его без Йок. Каждый раз, откывая глаза, я встречал устремленные на себя ее неподвижные, ничего не выражающие глаза соннамбулы, и чувствовал, как меня сковывает знакомая истомная слабость...

И... наконец, это случилось...

С глубочайшим стыдом вспоминаю этот день: я ударил Йок нагайкой. Ударил небольно, может быть, даже не сознавая, что я делаю. Она вспыхнула, хотела кинуться на меня, но остановилась, точно одернутая какой-то посторонней силой и, опустив глаза, ушла в палатку. Я поехал к Кайдалову и в первый раз, после, долгого перерыва, вернулся от него поздно ночью совершенно пьяным. Не раздеваясь лег на бурку, не обращая внимания на Йок, и заснул.

Разбудили меня резкий и пронзительный крик и какая-то возня. Когда я вскочил на ноги и зажег электрический фонарик, передо мной выросла маленькая фигурка Турбы.

Он стоял, прислонившись к колу палатки. Левая рука его была окровавлена. Йок исчезла.

Сделав Турбе перевязку, я стал расспрашивать его о случившемся. Турба упорно молчал. И тогда, — прости мне Боже! — в моем мозгу мелькнуло страшное подозрение:

Не убил ли Турба Йок?

Я отогнал эту явно нелепую мысль.

Через день я захворал лихорадкой. Несмотря на 45-градусную жару, меня трясло невыносимо. Ночью мерещились кошмары: Йок, выходящая с кинжалом из ковра. Сколько раз я хотел сжечь ковер или забросить его подальше в степь, но меня останавливал стыд перед Турбой.

Йок бесследно исчезла. Поиски не привели ни к каким результатом. Когда я оправился настолько, что мог ходить, пришел приказ о моем переводе.

Уезжая, я, потихоньку ог Турбы, завез ковер далеко в степь и забросил его там.

ЛИЛОВАЯ МАДОННА

Я давно уже не ощущал такой благодатной тишины, такой необычайной легкости во всем теле, несмотря на бессонную ночь в вагоне и тряскую телегу, подпрыгивавшую на кочках и ухабах деревенской дороги.

Мимо бежали низкие овсы, чуть пожелтевшая, кое-где поваленная ветром рожь, зеленые змеи льна, сменявшиеся розовыми головками клевера.

Серая, давно нечищенная кобыла бодро выстукивала некованными копытами, изредка трюхая мелкой рысью. Предо мной расстилались убогие поля, надо мной плыло русское скучное небо, подо мной ухабистая дорога, починить которую собирались еще при царе, да так и не собрались.

И борода везшего меня пожилого степенного Степана Васильевича была тоже настоящая русская — лопатой, рыжеватая с сединой. Да и сам он такой огромный, плечистый, был олицетворением потонувшего мира детства, неожиданно возникшего в памяти.

Когда я садился в городе в вагон, то не отдавал себе ясного отчета, зачем меня несет в какую-то глушь на самую границу. Единственным и весьма шатким предлогом было желание навестить живущего в деревне знакомого. Вышло все это как-то само собой. Нашел случайно открытку от него, завалявшуюся еще с весны, задумался над ней, вспомнил резкое угловатое лицо и решил: а почему бы и не поехать? Человек он был славный, талантливый художник, только странный как-то. Искатель. И этим искательством своим был мне близок, хотя внешне мы оба этой близости ничем никогда не проявили. Слышал я стороной, что была у него какая-то романническая история, кажется, неудачная, после чего он и скрылся из столицы лет двенадцать назад.

Но я никак не мог вспомнить героини этого романа. В конце концов, какое мне дело до чужих любовных драм и огорчений. Еду, и все тут. Трудно было найти лучшее место для отдыха. Такой удивительной благодатной тишины, не искусственно созданной, когда люди закрывают двери, спускают шторы и ходят на цыпочках, а какой-то внутренней примиренности не найдешь в наше время, пожалуй, нигде, кроме подобной глупи.

Степан Васильевич попался мне около станции, когда на рассвете я вылез из вагона, не имея ни малейшего представления в какую сторону надлежит итти. Он оказался близким соседом моего знакомого, Кожевникова, и согласился подвести меня до самого его хутора. На мой вопрос о Кожевникове, Степан Васильевич покачал головой и сказал: «Человек он хороший, только благой маленько. Тронулся. А так, ничего, живет справно. И без жены, а хозяйство ведет аккуратно. Бабе одной о ейным мужем хутор исполы сдает, да и сам помогает.»

*

К полудню мы, наконец, добрались до хутора. День выдался жаркий, безветренный и я мечтал о том, что хорошо было бы выкупаться и улечься в тень, сняв с себя все лишнее, что мы привыкли навыручивать в городе.

Алексей Петрович встретил меня приветливо, впрочем, без особой суэты. Я не узнал в этом спокойном, медлительном человеке прежнего нервного и порывистого художника. Он стал грузнее, немного обрюзг и поседел, и по внешнему виду мало чем отличался от того же Степана Васильевича и других мужиков.

Я не обманулся в своих надеждах на купанье. Речка была тут же. Узенькая и мелкая, поросшая ольхой и ивой, она текла хитрыми изгибами, образуя местами игрушечные водопадики и являясь естественной границей между хутором и соседней деревней.

Кожевников вылез из воды раньше меня и лежал на песке, подставив коричневую спину жаркому июльскому солнцу и лениво отгоняя садившихся на него слепней. Я внимательно разглядывал его. Он ничем не напоминал человека, пережившего какую-нибудь трагедию

А, может, быть, все это вздор? Ну, была, скажем небольшая история с женщиной и все. С кем этого не случалось!

После купанья обедали в небольшой чистой избе, служившей Кожевникову также и столярной мастерской. Обед был незатейливый, деревенский: постный суп с молодой картошкой, обильно приправленный сметаной, простокваша, творог, масло, яйца, молоко.

После обеда перешли на чистую половину — просторную светлую комнату в три окна. Здесь стояла походная кровать, накрытая грубым шерстяным одеялом, над ней висел старенький плюшевый коврик. Круглый стол под зеленой скатертью, мягкое кресло, стул, седло на березовом пне, ружье, полка с книгами и Спаситель в темном киоте дополняли обстановку. На окнах цвели герань и фуксии — характерный признак деревенского достатка. Пахло мятой и табаком. Я обратил внимание на то, что нигде не висело ни одной картины. Не было также видно мольберта и этюдного ящика

— Не занимаюсь, — коротко ответил Алексей Петрович. Что-то знакомое, прежнее, беспокойное и порывистое мелькнуло у него в глазах и сразу погасло.

Я поспешил переменить тему и начал рассказывать о городе. Кожевников слушал меня с вежливым безучастием. Очевидно, он настолько отошел от городских интересов, что моя болтовня не вызывала в нем никаких воспоминаний. Я мысленно пожалел зря пропавшую незаурядную силу. Когда-то его имя часто мелькало в столичных газетах, ему пророчили блестящую будущность. А теперь я видел постаревшего, опустившегося человека, давно махнувшего рукой на все и на всех.

Мы еще посидели с полчасика, говоря о разных мелочах. Потом Кожевников встал и, сославшись на хозяйственные дела, вышел.

— А вы с поездки-то, верно, утомились, — сказал он, полуобернувшись с порога. — Так не стесняйтесь, ложитесь на мою койку. Я потом скажу Федосье, чтобы вам кровать приготовила. Отдыхайте!

*

Первые три дня моего пребывания на хуторе Кожевников считал своей священной обязанностью меня пестовать. Сводил в лавку, на почту, показал все свои владения. Когда я со всем освоился, Алексей Петрович махнул на меня рукой и предоставил собственной судьбе.

— Вы уж как-нибудь сами, — сказал он добродушно. — Может быть, я вам даже надоел, что торчу около вас эдаким итальянским гидом. Да тут и показывать нечего. Все как на ладони.

И вот, самоопределившись, я стал делать из хутора далекие вылазки. Я любил блуждать ржаными раздолбьями, погружаться в солнную тишину соснового бора, где беспомощно сникает ветер, разбивая крылья об его зачарованную тишину. Как-то забрел я и в старенькую церковь в селе Парfenове, верстах в десяти от хутора. Я пленился ее трогательной белизной, нежно голубыми куполами и гнездом аистов на сломанной березе.

Нельзя было в этот ранний утренний час попасть в церковь, минуя гостеприимный дом деревенского батюшки. Пока служанка ходила к сторожу за ключами, отец Арсений напоил меня чаем с земляничным взрением и расспрашивал про город и про «политику».

— Слышал про вас, да, да. Вы что же у нас, так, погостить, или по литературной части, скажем? Хотя сторона наша и бедная, глухая, а все можно покопать кое что. А вы хотите в нашем храме иконы посмотреть? Особо старинных, правда, у нас нет, это вам не Печеры, а любопытное кое-что есть. Вот, хотя бы, икона Богоматери, знакомца нашего, Алексея Петровича работы-с. Дарственная. Я хотя с письмом и не совсем согласен, очень уж, знаете, по иностранному, как, к примеру, Мурильевские Мадонны. А должен все же сказать, — красиво и благолепно.

Признаться, меня это очень удивило: Алексей Петрович в роли богомаза! Правда, он был прекрасным портретистом, но иконопись, вдобавок не ремесленная — отрасль, требующая особой духовной склонности, ино-устремления. Воображаю, что за икону написал Ко-

жевников! Я мысленно посмеялся над простодушным батюшкой и его «мурильевским» письмом. И глубоко в этом раскаялся.

У царских врат, таких трогательно простых и бесхитростных, бывающих только в убогих деревенских церквях, висела довольно большая икона. Издали она не бросалась в глаза. Но подойдя и рассмотрев ее, я впился в нее глазами и застыл на месте от удивления. Это была действительно мурильевская Мадонна, написанная яркими, смелыми мазками.

Она смотрела на вас в упор и в какую сторону вы бы ни отошли—вы не могли избежать пристального скорбного и такого человеческого, понимающего взора огромных, чудесных глаз. Все остальные детали — сияние, лиловая кружевная ткань облаков вокруг лица, были, как мне казалось, написаны легко, почти небрежно. Да и в самом деле, они казались неважными, несущественными рядом с неотвратимым, всепокоряющим сиянием глаз.

Чье лицо изобразил Кожевников? Кто мог быть натурой для этого шедевра? Это не был воображаемый мистический лик, являющийся в снах благочестивым иконописцам, а живое, яркое, страдающее женское лицо, ничем не напоминающее типичных строгих ликов русских Богородиц, так часто встречающихся у крестьянок. Мне невольно припомнились стихи талантливого, молодого, рано умершего поэта, Ивана Савина.

«У Царских врат — икона странная: глаза совсем твои. До самых плит — резьба чеканная — литые соловьи. Я к соловиному подножию с мольбой не припаду. Похожая на Матерь Божию, — ты все равно в аду. Ты не любила, ты лукавила, ты уходила с тьмой. Глазам твоим свечу поставила монахиня с сумой. И, вот, с каликой перехожею у Царских врат стою... Господь, прости ее похожую на Мать Твою!»

И когда я вспомнил эти строки, мне почему-то стало казаться, что в благостном взоре Мадонны чуть замечено проскальзывает что-то совсем не благостное; не то усмешка, не то тень какого-то сомнения. И чем больше

я смотрел, тем яснее становилось это противоречие, тем сильнее чувствовалась двойственность лика. Я вышел из церкви со странным, непередаваемым ощущением человека, против воли заглянувшего в чужую тайну.

Кожевников опустил волосатые в синих жилках ноги с кровати и собирался уже задуть лампу, стоявшую около него на стуле. Я лежал напротив на огромной, Бог весть сколько лет пустовавшей кровати, похожей на деревенскую телегу. В комнате было душно от русской печи, над ухом жужжали мухи и пели комары, потревоженные светом. Я все еще находился под впечатлением виденной мною иконы и меня подмывало спросить о ней Кожевникова. Но я не знал, как бы деликатнее приступить к разговору. И вдруг, совершенно неожиданно, Алексей Петрович, вместо того, чтобы задуть лампу, взял кисет, свернулся из газетной бумаги огромную самокрутку, прикурил от лампы и сказал:

— А мне говорили, что вы церковь в Парфенове смотреть ходили.

— Да, — ответил я, стараясь принять равнодушный вид. — А что?

— И видели, значит, там... икону мою. — Голос его чуть дрогнул. — Лиловую Мадонну?

— Да, какая чудесная вещь, — сказал я, приподнявшись с постели. — И вы знаете, как странно: едва лишь я ее увидел, как сразу тоже подумал: Лиловая Мадонна!

Алексей Петрович отвернулся, как будто для того, чтобы прикурить, хотя папироса его и не думала потухать.

— Вот, вы как-то спросили у меня, — заговорил он, наконец, глухим голосом, — почему я больше не пишу. А я, помнится, вам тогда ничего не ответил. Даже невежливо это вышло. А почему? Почему-с? Видели вы в церкви Лиловую Мадонну? Да? Вот вам и готовый ответ, почему, — Он пыхнул цыгаркой и закутался си-ним дымом.

— Не знаю, поймете ли вы меня, а только после нее я ничего больше писать не мог. Рука не поднимается.

Может быть, не надо было бы вспоминать всего этого, ворошить, так сказать, слежавшуюся труху. Но уж раз так случилось, то расскажу, если вам любопытно будет послушать.

Вы, вероятно, помните меня в те времена, когда я жил еще в столице? Молодость, Академия, успех. Портреты мои тогда пошли в ход. Особенно женские. От заказчиц отбоя не было. Если-б я был в ту пору жадным, то мог бы огромную деньги зашибать. Только я мало обращал внимания на эту, так сказать, хозяйственную часть. За богатыми клиентами не гонялся, а был, пожалуй, даже грубоват с ними. Да вы не думайте, я не со зла это и не из хамства. Просто, случилось со мной в ту пору такое, что и похуже можно было вещей понаделать. Не только заказы потерять, тут и жизнь можно было потерять. А началось все с того, что я, начал крутить. Успех, деньжонки. Не то, чтобы я пил очень много, а просто, втянуло меня в эту легкую жизнь, по инерции. Ну, там, рестораны, загородные сады, бардамы и прочее. Человек я был на этот счет легкий. И вот тут попался мне один человек. Фамилию его называть не буду. Может быть, вы его в городе также встречали. Скрипач. Был он помоложе меня лет на семь Худенький такой, невзрачный. А играл! Даже представить себе трудно, что мог Господь наградить человека эдаким талантом. И что же он с этим талантом делал? Менял его, как раб лукавый, по всем кабакам и трактирам. Не было, кажется, такой поганой дыры, где бы не трепали его имени. И не так, чтобы по-человечески, по фамилии, или имени-отчеству, а просто: Санька! А все это от того, что он пил так же вдохновенно, как и играл. Когда расходился, то не было ему удержану. Потому и не держали его ни в одном месте, хотя и ценили необычайную одаренность. И, вы думаете, была у него причина для такой отчаянной жизни? Женщина, может быть? Шершэ ля фамм, как говорится? Женщина, впрочем, была. Но только не она являлась причиной его безобразного житья, а скорее он был причиной многих ее бедствий. А, впрочем, кто их там знает. Только знаю, что и моя личная история с них началась..

Помню, сидел я однажды за столиком в ночном баре. Там и Санька подвизался. Были это первые месяцы нашего с ним знакомства. Сидел я тогда, что называется, в «полсвиста» с приятным сознанием, что в кармане шуршат бумажки и нет у меня никаких особых забот и огорчений. Оркестр играл что-то такое нежно-грустное, танцевали пары. Бардамы крутились между столиками

И вот, проходит мимо меня женщина. Я даже удивился, — до чёго она не была похожа на обычные типы. Что-то такое нежно-хрупкое, сияющее и грустное. Я глазам своим не поверил, как мог вырасти такой цветок на подобной кабацкой почве. И вся она была такая тихая, скромная, как будто даже немножко застенчивая. Платье на ней было такое лилово-сиреневое. Вздор, что лиловый цвет к лицу только старухам. Ерунда! Лиловый цвет женщине надо уметь носить, так, как нам, мужчинам, надлежит уметь носить фрак или смокинг.

Так она прошуршала мимо меня, как блоковская «Незнакомка».

«И веют древними поверьями ее упругие шелка. И шляпа с траурными перьями. И в кольцах узкая рука.»

Не помню, она ли ко мне подсела, или я ее за свой столик пригласил, только минут через двадцать сидели мы с ней и болтали, будто давным давно были самыми лучшими друзьями. И все так просто, мило, без каких-нибудь намеков, кабацких тостов и двусмысленностей. Ничего она себе не заказывала, я сам заказал ей бокал вина и цветы преподнес.

Она спокойно сидела и только много курила, свои, какие-то особенные, сигаретки. Говорили мы о разных вещах, и, удивительное дело! ни разу не встречал я в подобных местах таких интересных собеседниц, начищанных и остроумных. В промежутках между танцами подходил к нам и Санька. Во фраке, как и полагается скрипачу-дирижеру и, конечно, пьяный. И до того я в разговоре нашем отошел от окружающей атмосферы, что, когда Санька ляпнул какую-то не очень грубую сальность, я довольно резко его оборвал. Как будто она была не такая же, как все окружающие нас женщины, а маленькая девочка, а я около нее вроде эдакой няньки-

фребелички. И, Боже мой, каким благодарным взглядом награжден я был за это смешное рыцарство. Голова закружила от этого взгляда и по спине прошла свежая струя. Как будто на тебя с сиреневой ветки дождевые капли упали.

Говорили мы и о моей профессии. И вот, словно невзначай, она спрашивает:

— Ну, а меня хотели бы вы написать? Годна я как натура для какого-нибудь большого полотна, — скажем «Леды», или «Вакханки»? — И сама на меня смотрит, чуть чуть насмешливо, точно вызывая на какое-то дерзновение. И сюжеты, как нарочно, выбрала самые пошлые.

Не знаю, вино ли мне ударило в голову, или задел ее насмешливый взгляд, но пришла мне на ум странная, даже кощунственная мысль.

— Да, — говорю, — вы можете быть прекрасной натурай, но не для разных пошлых «Лед» или «Вакханок». Это все ерунда. А для Мадонны. Лиловой Мадонны! Вот так, как вы передо мной сидите Ни плеч, ни рук, ни одежды, ничего. Только одно лицо и кругом такое лиловое облако, точно кружево.

Но после этих слов моих она как-то сразу притихла, стала рассеянной и задумчивой. Я даже пожалел, что таким резким контрастом подчеркнул и сделал еще больнее ее настоящее положение. Мадонна и бардама!

Потом она немного оживилась, но разговор больше не клеился. Посидела еще немного за моим столиком, извинилась и ушла.

Шел я после этого по улице и думал. Уже рассветало. Дворники с панелями снег скребли. Вдруг вижу, у фонаря знакомая фигура: Санька, Шуба нараспашку, машишка белая вылезла и завилась кверху, точно вафля. Стоит, качается и напевает под нос.

— А, — говорит, — это ты, богомаз! — Не знаю, почему он меня так назвал. Говорили мы о Мадонне без него. Бывают иногда такие странные, провидческие совпадения.

— А девочка-то хороша? — спрашивает. — Хочешь, я ей шепну и она с тобой поедет?

— Пошел ты спать, свинья! Ничего мне не надо.
А он даже как будто удивился моему резкому тону.
— Ты что сегодня? Тебе даже слова сказать нельзя.
Да, ведь, она моя жена, Нита-то.

— Как жена? Ты бредишь!
— Ей Богу, нет. В самом деле жена.
Тут уж я окончательно обозлился и взял его за ширворот.
— Как же ты, скотина эдакая, жену мне свою предлагаешь? Где же твоя совесть?
— Потому, — говорит, — предлагаю, что знаю кому. Знаю, что ты человек, а не борзой кобель.

И опять понес такую околосицу, что я махнул на него рукой. Подозвал извозчика, взвалил Саньку в протелку, как мешок с костями, и отправил домой.

*

Стал я после этого пьяных кампаний сторониться. Все больше дома отсиживаюсь, работаю. И о Ните старался не думать. Что она мне? Бардама, Санькина жена! Хоть и Санька он, а все-же свой друг, богема.. Лучше уж подальше от соблазна. И в кабак тот ни ногой.

Работал я в те дни, как безумный. И не ради денег, а для спасения собственной души. Но странное дело: что ни начну писать, — Нита перед глазами.

Однажды вечером сидел я в мастерской, перебирая старые этюды. Был уже март месяц. Снег стаял и по городу гудел великопостный звон. Люблю я, знаете, эту пору. Верба распускается. Детские воспоминания и стихи из хрестоматии, тючевские, «растворяется первая рама»... и прочее. Копался в этюдах и переживал молодость. И вдруг звонок. Я даже с досады выругался. Кого-бы это принесло сейчас в мою мансарду? Отложил холсты, вытер руки — уж очень пыльные были мои воспоминания — и пошел в переднюю.

Открыл и обомлел. Нита! Кофточка коричневая, мехом отороченная, полурастегнута, кашнэ шелковое закинуто назад, шляпка маленькая, эдаким пупом. Сама бледная, а глаза, как два фонаря.

— Можно?

— Пожалуйста.

— Наверное удивлены, что я первая к вам пришла. Может быть, вы заняты, или гостей ждете?

— Нет, нет, что вы! Какие в моей берлоге гости. Один как сыр живу.

Помог я ей раздеться. Кофточку эту сама она ни застегивать, ни расстегивать не умела. Всегда муж ей помогал, а потом уж я на эту должность определился. Провел ее в свои апартаменты. А квартира у меня, надо сказать, — мансарда. Убогая, но довольно уютная, комната с кухней. Тут и мастерская и спальня и гостиная. И окна на север, как и полагается художнику. Вид на черепичные крыши и готическую кирху. По-э-зи-я!

Стал я мою гостью чаем угождать, в кондитерскую за печеньем смотался. Завел длинные разговоры о том, о сем, о Пасхе и вербочках. Слушала она мою пустую болтовню, головкой кивала, а потом вдруг говорит:

— Святой вы человек, Алик (так и назвала. Никто меня таким именем на звал). Да, да, именно, святой. Пришла к вам молодая женщина. И не уродина, надо думать. Другой бы на вашем месте руку ей поцеловал, или обнял. Может быть этой женщине ласки хочется, нежности, которой у нее нет и никогда не было. А вы ее сказками занимаете.

Признаюсь, меня от этих слов даже в жар бросило. Не ожидал я такого вступления. Я вообще был насчет женщин довольно застенчив.

А в общем, что там долго расписывать. С этого вечера все и началось. Стала Нита частой гостьей в моей мансарде. Иногда и ночевать оставалась. Санька-то мало внимания на нее обращал. Странный он был, может быть и не любил вовсе. Только потом уж я понял, как ошибался. Но об этом речь еще впереди. Приходила она ко мне довольно часто. Иногда веселая, — тогда все звенело от смеха. Даже казалось, что все мои старенькие этюды июльским солнцем наливались, как ржаные колбасы. Порой грустная, и все тогда поникало. Обнимет меня бывало и скажет:

— Уйду я от него, куда глаза глядят. Возьмешь меня?

— Ну, конечно, возьму, глупенькая, хоть сейчас оста-
вайся. Я завтра пойду и с ним объяснюсь. Должен же
он понять, что не для тебя такая жизнь.

— Нет, что ты, что ты, разве он может без меня.

И так все время. И не мог я ничего понять. Меня то
она очень любила, по своему, конечно, — Привыкла я,
— говорит, — к тебе, Алик. — Улыбнется и прибавит:
— Ну, как к ночному горшку, скажем. — А сама смот-
рит, не обиделся ли я. А только обижаться на нее было
невозможно, что бы она ни говорила.

— Ты святой человек, Алик. Тебе бы в пустыне спа-
ваться. Ничего ты в наших делах не понимаешь.

А сколько я мук тогда натерпелся, ожидая ее по но-
чам, когда она из своего бара выйдет. Иногда так и не
мог дождаться. Тогда запивал на несколько дней. Клял-
ся и божился, что на порог больше не пущу. А день
пройдет, — звонок. Приходит. Опять веселая, ласко-
вая, как всегда. Посмотришь и сердце отойдет. И такой
у нее вид был, верите или нет, словно вся эта грязь к
ней не прилипала. Точно оставляла она все темное за
порогом и входила ко мне светлая и чистая, без единого
пятнышка. Это душа ее светилась, ребяческая душа.

А Санька нашим романом как будто и не интересо-
вался вовсе. Запродал он тогда граммофонной компа-
нии свои шлагеры, и пил по этому случаю волшебно. И
день и ночь.

Работал я тогда мало, урывками. Заказчики обижа-
лись: все не готово. А у меня такая слабость, апатия,
кисть из рук валится. Все думаешь о Ните: где она, с
кем она? Хотел и ее портрет написать. Большой, пояс-
ной. Все подготовил, краски купил, настоящие лефра-
новские. Натянул холст на подрамник. Но Нита наотрез
отказалась:

— Не надо, Алик. Так, как ты первый раз меня хотел
написать, — грешно. А другой, обыкновенной, жалкой
и грешной — не хочу. И не напишешь ты так, чтобы
одна моя душа на полотне была.

— А я тебя все же напишу, Нита... Мадонной! Нет
тут никакого греха. Ведь и Мурильо и Рафаэль писали
Мадонн не с ангелов, а с обычных женщин. Дело

в душе, а не в теле; в той чистоте и ясности, которую художник вкладывает в картину.

— Нет, Алик, может быть это и глупое суеверие, но я не хочу.

Но все же я написал. Очень уж меня идея эта захватали. Писал по ночам, урывками, на память. Целый месяц бился. Пишу и замазываю. Все как-будто не то. Одни глаза раз двадцать переделывал. И как ни бился, не мог им придать того выражения, которое хотел: нежности и святости, умиливших меня при первой встрече. Кажется, вот, добился. Отойдешь, посмотришь, — не то Двойственность какая-то. Сквозь смирене и святость омут проскальзывает. И взгляд как-будто недобрый.

Но, хоть и не был я вполне удовлетворен, — вещь, как вы видите, получилась сильная. Выстави я ее тогда — успех был бы обеспечен. Но я думать даже об этом не хотел. Все-равно как кусок от сердца оторвать и собакам бросить.

Вдобавок, начиналась тогда развязка всей истории. Решила Нита окончательно уйти от мужа и переехать ко мне. Вышло это у нее, как и все, неожиданно. И тогда, когда я потерял всякую надежду. Я прямо на седьмом небе был, всякие планы строил. Она меня в те дни все про этот хутор спрашивала. Я в него, после смерти родителей, редко заглядывал. Федосья с мужем тут хозяйство вела и мне кое-что отсюда присыпала. А Нита моя этому хутору как ребенок радовалась. «Приедем, дескать, на хутор и все свое заведем»

О Саньке как-то речи не было. Я из деликатности ничего не спрашивал, а она вскользь упомянула, что с ним все уже переговорено.

Устроил я напоследок выставку своих картин. Вышла удачной. Многое раскупили. На vernissage куча народа перебывала. Только Мадонну, разумеется, не выставлял. Как я ее от Ниты ни прятал, а все же увидела она ее. Думал, что обидится и расстроится, но ничего, обошлось. Посмотрела и говорит:

— Большой ты мастер, Алик. Только зачем такую вещь на чердаке держишь? Ее не на чердак, а в церковь

надо. Это ведь не меня ты написал, а мечту свою на холсте передал. А я как была грешницей, так ею и осталась. Больше ничего не сказала, но Мадонну собственноручно в комнату на мольберт поставила.

И вот настал день отъезда. С утра я бегал высунив язык. Поезд отходил в 9 часов вечера. Уговорились мы с Нитой, что свезу я свои чемоданы на вокзал пораньше, а потом за ней заеду. Санька к 7 уходил играть в загородный ресторан и Нита должна была после него уложитьться, чтобы не огорчать сборами человека. Да и вещей то у нее почти никаких не было.

Часов около семи собрал я свои вещи, взял извозчика и поехал. Сдал все в багаж, как полагается, билеты купил и вдруг вспомнил: Мадонна! Боже мой! Самое дорогое свое дома забыл. Помчался обратно на квартиру. Извозчика подгоняю, а у самого на сердце неспокойно, словно предчувствую что-то недоброе. Подъехал к дому, велел извозчику дожидаться, а сам быстро на верх побежал. Смотрю — дверь в квартиру открыта. Верно я ее вспыхах забыл прихлопнуть. Вхожу в комнату... и вижу: Санька. И вот тут-то это и случилось... Бросился я вниз по лестнице, как полоумный, сел на извозчика и на вокзал. Без Мадонны, без Ниты, один!

Алексей Петрович внезапно замолк и очень долго копошился, скручивая новую папиросу. Наконец, после долгой паузы, я решился спросить:

— А почему вы Ниту с собой не взяли?

— Так, не судьба.

Мне стало ясно, что он не хочет объяснять причины своего необычайного бегства. Было ли у него объяснение с Санькой, или что-то другое заставило его так круто изменить свое решение, я не мог понять.

— Эх, да что там вспоминать, — сказал он немного погодя. Вы наверное и спать хотите, надоел я вам своей историей.

Он дунул на лампу и она пыхнув раза два, погасла. Но я долго не мог заснуть и слышал, как кряхтел и ворочался Кожевников на своей постели.

Дела вызывали меня в город. С сожалением расставался я с полюбившимся мне островком тишины. Алексей Петрович сам вызвался везти меня на станцию.

С утра было жарко. В полдень, когда мы тронулись, все кругом затянуло темно-лиловыми тучами. Изредка полыхали молнии и гремел гром. Алексей Петрович взбадривал кнутом гнедого мерина и с опаской поглядывал на небо. Уже упали первые крупные капли — предвестницы близкого ливня. Потом поднялся ветер, закрутил дорожную пыль, расчесал как гребенкой овес и лен, и погнал по небу тучи. А когда мы подъезжали к станции, уже снова сияло солнце, вырвавшись из темно-лилового плена. Гроза с ливнем прошли стороной. Последний гром лениво протарахтел где-то далеко, как отсталая телега на деревенском мосту.

Алексей Петрович хозяйственно привязал мерина к коновязи и помог мне перенести вещи на станцию. Вскоре должен был притти поезд. Я крепко сжал Кожевникову руку.

— Спасибо, Алексей Петрович. За ласку, гостеприимство и за Мадонну тоже.

Он грустно улыбнулся.

— Ах, вы все об этом. Не забыли еще. Ну, раз не забыли, значит есть о чем помнить. А знаете, — добавил он, задерживая мою руку в своей, — отчего я сбежал тогда один? Вам, может быть, это даже диким показалось. Дескать, с ума сошел человек. Женщину ехать подговорил, а сам удрал чуть ли не в окно, как Подколесин в «Женитьбе». Вы, может быть, подумали, что я, найдя Саньку в квартире, испугался. Ну, там револьвер, или нож — бешеный муж, испуганный любовник и все прочее. Нет, не испугался я тогда, и пулей меня в ту пору пронять было трудно. Есть вещи, что хуже пули и ножа пронзить человека могут. Никакого объяснения у меня тогда с Санькой не было. Да и что он в сравнении со мной! Ребенок! Я тогда и в комнату не зашел даже, только в дверь заглянул. И он меня совсем и не видел. Ему не до меня было. Я даже сначала и не понял, чего это он у меня в комнате копошится. Подумал: пьяный. Хотел окликнуть, но что то меня

вдруг словно в бок подтолкнуло: молчи! И знаете что? Он стоял на коленях перед мольбертом с Мадонной и молился. И такое у него было лицо — светлое и вдохновенное, — от закатного ли луча или от внутреннего озарения. Никогда не видел я у Саньки такого лица.

— Матерь Божия, — говорит, — Ты все можешь, оставь мне мою Ниту!

И тут я почувствовал, как все во мне словно перевернулось. И понял я, как жалки и любовь моя и ревность перед его любовью. Я-то ее ко всем ревновал, а он все терпел до последнего. И меня и бар и многое другое И молчал. А я то, дурак, думал, что это равнодушие Нет, не равнодушие это было, а огромная человеческая любовь, которая все прощает. Ну, приди он тогда ко мне, нашуми, наскандаль, я бы его как щенка на лестницу выкинул. Но... молитва! Этим-то он меня и прошиб. Может быть, по вашему, я неправильно поступил. Ниту, любимую мою Ниту, бросил и уехал, И я сперва так думал, мучился, места себе на находил, пока не получил вог это.

Он пошарил в карманах и вытащил лоскуток бумаги. На нем крупным детским почерком было написано одно только слово: «Спасибо!»

— Это она мне вскоре вместе с Мадонной прислала Ну, как по вашему теперь, правильно ли я поступил, или нет? Разве любимые за то, что их бросают; спасибо говорят? Значит, не бросил я, а отдал тому, кто достойнее, кого она больше любила. Да и не потому, что она любила, а потому, что нельзя у человека послед него куска веры вырывать. Ему ведь Ниту не я вернул, а Мадонна!

— И больше вы ее не встречали?

— Нет, не доводилось. Только слышал стороной, что уехала она с мужем заграницу. Он, говорят, пить совсем бросил и теперь большую карьеру сделал. Это его моя Мадонна на правильный путь поставила, да и меня от ложного шага остерегла. Да, вот что в жизни бывает. А вот и ваш поезд. Ну, я бегу. Конь у меня пугливый, не дай Бог, с коновязи сорвется. Вы уж, как нибудь сами с вещами справитесь. До-свиданья.

НЕВЕСТА ИЗ ГАРЕМА

Было это под самую революцию 1917 года. Бродячая натура моя загнала меня на кавказский фронт. Был я тогда молод и жаден: все хотелось побольше повидать и испытать. Повоевал на всех фронтах, а вот кавказского не видел. Ну и понес. Путь такой. Тифлис — Александрополь — Джульфа. До Александрополя железная дорога еще приличная. А дальше до Джульфы — военного времени. Это, доложу вам, такая чертохайка, что зубы на ходу от тряски щелкают, как испанские кастаньеты. А красота несказанная. Горы, туннели. С одной станции, что Шахтахты называется, бильской гора Аарат видна. Маячит издали синеющая горная вершина. За Джульфой — Урмийское озеро. На ней пристань — Шерифхане. Через озеро ползет эдакая речная вошь — мелкий буксиришко и тянет за собой баржу. А озеро — теплая соленая лужа. Наши казаки смеялись, что можно в него селедки, как в бочку на засол кидать.

За озером — пустыня. И в ней, как две изюминки в буханке хлеба — два городка. Гюльпашан и Урмия. Гюльпашан помельче, вроде деревни. А Урмия большой областной город. Около этих городков и помещался наш сводный конный дивизион. Входили в него сотня кубанцев, моя забайкальская и две сотни пограничников. Командовал дивизионом кубанец, есаул Кудашенко. Вот о нем-то и будет речь.

Вопреки моим ожиданиям, жизнь оказалась довольно серая. Сердце в те времена жаждало подвигов, а — войны-то никакой и нет. Я просто ошибся направлением. Мне бы податься на Эрзерум надо или к озеру Ван, а я почему-то полез в Урмию Редко, редко когда

собирались в экспедиции ловить в горах курдов. Два или три раза сшибались с турками Ну, а в остальное время — «железка» и беспробудное пьянство. В деньгах мы в ту пору не нуждались, получали полуторные оклады из расчета русского золотого рубля. Монету девать некуда. Редко когда приходилось в Тифлис съездить, ну, там, конечно, всякие заведения куда денежки пристроит можно. А здесь глуши, пустыня И, вдобавок еще малярия и холера. От малярии — одно спасение — хина. От холеры — водка. Тут и святой запьет. Ну мы и чесали с утра до позднего вечера. И легкие виноградные и сараджевский трехзвездный, а пуще всего местный напиток — кишмишовку. Мы его в шутку называли, по Лескову, чуфурлюр-лафитом. Это, доложу вам, такой стенолаз, от которого кишки коромыслом становятся, в душе смятение, а в ногах землетрясение. И, понятно, фантазии при этом различные являются.

Дружил я тогда с командиром дивизиона Сережей Кудашенко. Куда он, — туда и я. Жили в одной квартире, делились последней копейкой, все печали и радости друг другу поверили. Был он детина ражий, плечистый, белокурый. Нрава спокойного, но «с фантазией». В пьяном виде его не задевай. — Меня, говорит, — не замай, я из Незамайковского куреня родом. Был еще в нашей компании вольноопределяющийся из киевских студентов Савельев. Талантливый парень. Прирожденный лингвист. На всех языках разговаривал. Приехал сюда и сразу по-персидски и по-курдски залопотал. И так это у него скоро получалось. Кудашенко его с собой повсюду вроде толмача возил.

Это вам после Кудашенки второе действующее лицо истории. А третье — персидский князь Хан-Абдурахман.

Был еще английский майор Хелли, но он персонаж, так сказать, эпизодический.

Персюк был богач необычайный.

От Гюльпашана до Урмии по обе стороны дороги тянулись его сады. Чего в них только ни было! И перси-

ки и абрикосы и всякие другие фрукты. В степи ходили отары овец и конские табуны. Посыпал он повсюду верблюжьи караваны. Злые языки говорили, что имел он тайные сношения с неприятелем, но проверить этого было нельзя. Еще болтали о необычайном его гареме. Расписывали, что такие в нем красавицы водятся, что будто даже в старину у турецких султанов таких не было. А другие, наоборот, говорили, что вовсе это не гарем, а просто подторговывал старый бес живым товаром. Мы, конечно, всему этому верили. Смешно вспомнить, но, понимаете, были очень молоды, романтизм, восточная обстановка и все прочее: сказки из «Тысяча и одной ночи».

Как я раньше говорил, находила иногда на моего командира «фантазия». И тогда был он словно не в себе: то носился по всем окрестностям с песенниками, загуливал у англичан и французов, или у местных купцов. Или забирался на квартиру, потренькивал на гитаре и пел заунывные хохлацкие песни.

А то просто мрачно, пил и не говорил ни слова. Я в такие дни его не трогал. Принимал дивизион, следил за распорядком, отписывался по начальству, смотрел за хозяйством.

Так прошло четыре месяца с тех пор, как я приехал в Урмию. Кончилась осень, подошла зима. А зима у каждого порядочного человека вызывает представление о снеге, крутом морозце, тройках и т. д. Ничего подобного тут не было. Дожди, грязь, сырость. Самое подлое время года. Тоска такая, что даже водкой ее не перешебешь. Не лезет в горло. А тут еще как на зло подходит Рождество. И от этого сознанья, что дома у нас Сочельник, Святки, свечки на елке горят — еще паскуднее на душе становилось. Как раз в это время и напал на моего друга «стих». Помрачнел он, как туча. Не пьет, не есть, сидит в комнате на подушках, поджав под себя ноги, ничего не говорит и даже гитару в угол забросил. Я уже около него на ципочках хожу, не тревожу. А он на меня — ноль внимания, как будто меня и нет вообще. Только в самый сочельник немножко

отошел. Сделал я, по правде говоря, для нашей троицы маленький сюрпризец. Велел Галданову, вестовому моему, настяпать пельменей. Он у меня на этот счет был великий мастер.

Накрыли мы с Галдановым стол, уставили закусками, бутылками: коньяк трехзвездный, по прозвищу «поручик», чуфурлюр-лафит, шампанского пару бутылок «Поммери-сек», — это я у французов расстарался. Все как следует, только елки нет. Хотя бы можжевельника какого-нибудь достать, что-нибудь эдакое хвойное, чтобы смолой потянуло! Но где там!

Иду я к Кудашенко, зову:

— Сереженька, голубчик, идем ужинать.

Посмотрел он на меня эдаким зверем, хотел видно подальше послать, но посмотрел на мой торжественный вид и смягчился. Что-то у него в лице дрогнуло. Встал, пошел. Входим в столовую.

А тут Галданов из кухни выворачивается, пельмени тянет. Хоть и кубанец мой приятель, а все же его мои сибирские пельмени тронули.

— Не галушки, — говорит, — и не вареники, а все же свое, русское.

Поцеловал он меня и Галданова, перекрестился, сел за стол. Раскупорили шампаню. Савельич спич подходящий к случаю произнес. Закусили пельменями и прочей снедью. Ударили по «поручику», а потом для проливки чуфурлюр-лафитцу хватили. И так это у нас все тихо, мирно, по хорошему было. Без обычного зу-боскальства. Каждый о своем подумал.

Выпил Сергей стенолазу, пожевал пельмень, потом тарелку отодвинул и говорит:

— Не могу больше, братцы!

Мы сразу и не поняли в чем дело.

— Ну и не пей, Сереженька, если не можешь.

— Да не то. Жить так не могу больше. Хочу, говорит, любви и поэзии. И чтобы ваших пьяных рож больше не видеть.

Тут уж мы больше не выдержали. Даже Галданов на кухне фыркнул. Савельев участливо спрашивает:

— Ты не болен ли, Сереженька? Смерил бы температуру. Хочешь, я тебе термометр принесу.

— Провались ты со своим деръмометром. У меня, может быть, томление духа, а ты с температурой. Если хотите серьезно говорить, — я вам кое-что расскажу, не хотите, — чорт с вами. Пейте дальше.

Тут мы нашего смеха устыдились. Никогда еще Кудашенко так не разговаривал. Значит, действительно, что-то его заело. И что вы думаете: влюбился человек. Так он нам откровенно и признался.

— Ну, что же, — говорю. — Если ты это серьезно, посытай меня сватом, коли родители твоей нареченной поблизости, и делу конец. И Савельич со мной поедет. Ему, как аблакату, говорить сподручней. А я — для представительства. Все-таки — шашка и револьвер. Доводы веские. Всякие родители согласятся. Могу еще пару ручных гранат прихватить.

— Все это хорошо, братцы. Верю в вашу дружбу, только родителей у нее никаких нет.

— Ну, ежели сирота, так еще лучше. В седло ее, да и в церковь.

— Не так-то просто: она не свободна.

— Ну, братец, ежели ты замужней бабе голову закрутил, это не годится. Это брось.

— Да не замужем, дурак. Она в гареме у «Гарун-аль-Рашида».

— Так вот оно что. А где же ты ухитрился с ней познакомиться?

— На базаре в Гюльпашане.

— А как же ты ее под чадрой рассмотрел?

— Э, милый, у казака глаз зоркий. Да и она помогла. Немножечко чадру приоткрыла. И как на меня глянет, так я чуть не сел в корзину с абрикосами. Картина. Пусть ваш Ботичелли засохнет со всеми своими ангелами. Вот это ангел. Посмотрела на меня и пропал казак.

— И давно это детская болезнь с тобой приключилась?

— С осени. С той поры и затосковал я, ребятки Хожу как дурной.

— Да ты брось. Она наверное про тебя давно забыла. Улыбнулась ему девченка, а он и растаял. Мало ли их на улице улыбается. Проси отпуск, поезжай в Тифлис. Там тоже хорошие девочки есть. Покрутишь и придешь в нормальное состояние.

— Да что вы меня совсем за дурака считаете? Буду я по первой встречной сохнуть. А это вам что?

Смотрим, лезет в карман, вынимает какие-то записочки. Развёрнул я одну. Смотрю, крупным почерком по-русски написано:

— Спасите...

Развернул вторую, читаю:

— Милый мой, увидимся ли мы еще когда-нибудь. Я совсем одна. Никто мне не может помочь.

На третьей: — Прощайте навеки. После Нового года меня увезут. Ваша Нина.

— Да что, она русская, что-ли?

— А кто ее знает. Видишь сам, что не по-турецки написано. А по имени скорей всего грузинка. У них ведь каждая третья женщина Нина, или Тамара.

— Откуда же у тебя эти записки?

— Ее служанка, эдакая старая карга, передала. Последнюю я только третьего дня получил.

— А ее больше не видел?

— Нет. Все кругом излазил, да как к ним попадешь. Знаешь дом Абдурахмана? За четвертой стеной его женское заведение. Приступом его брать, что-ли? Можно, конечно, забраться, парочку ручных гранат бросить, разбил все гнездо, птичку поймал, да и айда. Только не те, брат, времена. Дипломатический скандал. Майор Хелли и все его проклятые англичане поднимут такой хай, что не поздоровится.

Тут мы все задумались. Фантазия наша разыгралась во всю. Она, повидимому, бедняжка, нехорошим путем попала к Абдурахману. И как ее выручить? Официально — нельзя. Увертлив старый чорт. Итти напролом — еще хуже. Военное время — суд и расправа короткие. Расстрел. Значит надо брать смекалкой. Дол-

го мы судили, рядили. Уже давно рассвело, а мы так путного ничего и не придумали и пошли спать.

Спал я беспокойно. Крутился, вскакивал. Все почему-то мне один мирный горец снился. Будто он ко мне в окошко лезет и какое-то письмо сует, а я ему не верю и держу его, подлеца, на мушке. К полудню проснулся и... вдруг меня осенило. Недаром мне разбойник Ахметка снился. Хлопнул я себя по лбу и крикнул: «Поймал!»

Смотрю Кудашенко встал уже, гриву свою расчесывает перед зеркалом. Рожа злая, небритая.

— Что ты, — говорит, — поймал? Блоху, что-ли?

— Нет, брат, не блоху, а твою невесту!

— Это как же так? Любопытно.

— А ты не спрашивай, секрет. Покажи мне только эту старую ключницу твоей Дульциней.

— Хорошо. Вели седлать и поедем в Гюльпашан. Она там каждое утро на базаре болтается. Только ты напрасно чрез нее думаешь в ханский пансион попасть. Я уже пробовал. Единственno, что она может, — это записочку передать. Да и то неизвестно, передаст или нет.

— Ладно, больше ничего и не надо. Пиши только записочку: «Милая жди, счастье впереди». Или что-нибудь в этом роде. Одним словом, чтобы она была в любую минуту готова.

— Да ты с ума сошел парень, что-ли? Что-ж я ее буду зря полошить?

— Не зря. Слушай меня, или ищи себе невесту в другом месте. В Тифлисе, например, у князя Туманова дочка есть. Правда, ей уже за тридцать, зато домишко и конский завод.

— Пошел к черту, мне не до шуток.

— Мне тоже. Я дело говорю. Предупреди ее, чтобы к Новому году собиралась. А мне напиши другую записку, примерно такую «доверьтесь моему другу, он все устроит».

Поворчал Кудашенко немного, однако, записки написал. И поехали мы с ним на базар. На наше счастье

попалась нам старуха. Дали мы ей одну записочку, а для убедительности подкрепили ее крупной ассигнацией. Обещала она передать послание по назначению.

После этого пропал я на два дня. Взял с собой винтовку, наган и в карман еще браунинг, на всякий случай. И Галданова в компаньоны. Верный был человек и стрелок замечательный. А, главное, спокоен всегда, как изваянье Будды.

Поехали мы в курдское селенье, приятеля моего Ахметку разыскивать.

Оказал я ему в свое время маленькую услугу: спас от пули. Попался он однажды во время обыска в «мирном» селении с оружием в руках. Курды такой народ: когда нас много, — они все мирные. А стоит только им на небольшой разъезд или двух, трех человек напасть — всех перережут. Или еще хуже, — живьем к сакле пригвоздят.

Был этот Ахметка продувная бестия. Мотался и к туркам, и к немцам, и англичанам, — сведения возил. Шпион, одним словом. Видел я его и у майора Хелли. Майор, к слову сказать, был тоже не так себе майор и начальник английской миссии, а покрупнее птица — Интелиджанс сервис. Не зря он в этой дыре сидел. Говорят, еще в мирное время курдов против русских вооружал. А теперь, съел сам муху. Как начали курды англичан их же скорострельными винтовками лупить, так мы только посмеивались.

Топали мы с Галдановым по пустыне полутора суток. Наконец, поймали Ахметку. В долине Гердык, у самых гор. Лежит себе у костра и баракину жарит. Подъехали, спешились. Ахметка от костра отодвинулся, дал место, баракиной поделился. Так уж в тех местах водится. Даже врагу не откажут. А как отъехал, — обстреляют.

Мы его коньячком попотчевали. Плохой он был мусульманин, любил к горлышку приложиться. Минут с десять помолчали, покурили. Иначе там нельзя. Потом я говорю:

— Помнишь, Ахметка, как я тебя от пули спас?

- Помню.
Он по-русски хорошо лопотал, служба научила.
— А мой клинок гурда помнишь?
— Зачем не помнить. Хорош клинок. Самому Хас-
сру впору.
— Так вот, этот клинок твой будет.
— Зачем мой, когда твой. Я не заработал.
— А ты заработай. Дам тебе дело. Ты у большого
майора давно не был?
— Пачему большой майор. Не знаю большой майор.
— Все это ты врешь. И у майора ты бывашь и к Хас-
сру разбойнику в гости ездишь. Кто тебя знает, мо-
жет и к самому фон дер Гольц Паше наведываешься.
Я тебя, шельму, знаю.
— Зачем ругаешь, ты ж кунак.
— Ну, да кунак. Вот и помоги кунаку.
— Помочь можно, почему нет.

Короче говоря, посвятил я его во всю историю. Дол-
жен был он поехать частным образом к майору и дол-
ожить ему, что у Абдурахмана под Новый год собе-
рутся «важные птицы» из другого лагеря. А я приеду
и сообщу, что с нашей стороны тоже есть такие све-
дения. А посему необходимо к Абдурахману с обыском
наведаться. Жил он в той части, где майор был и на-
чальником гарнизона и административной властью. По
его приказу можно было всех жителей не только обы-
скать, но и перестрелять. Но, вот, как уломать майо-
ра? Был он человек осторожный и, что касается служ-
бы — кремень. Придется Савельича попросить англича-
нина уломать.

Савельич, как я и думал, отнесся к моей затее сочув-
ственно. Внес некоторые поправки с юридической точ-
ки зрения. И даже о последствиях подумал.

*

С майором справиться было нелегко. Целый час его
уламывали. Не знаю, что ему Савельич по-английски
плел, только все он башкой отрицательно качает. Тут
я не выдержал и говорю:

— Человек вы или зверь, майор? Понимаете, что тут дело о спасении человеческой души идет, а вы все нет, да нет.

Эдакую штуку ляпнул. Хорошо, что он по-русски только два слова понимал: «карашо и випивать».

Наконец, все же уломали. Поставил он нам только следующие условия. Во-первых, в ордере будет указано: по настоянию русской разведки. Это он, бродяга, на всякий случай с себя ответственность спихивал. Во-вторых, не брать Кудашенко. «Храбрый офицер, достопочтенный и досточтимый, но... сами понимаете!» Мы, конечно, поняли. Чуть что, снесет Серега персу башку и заварится такая каша, что сам генерал Баратов ее не расхлебает. А третье — селямлик (мужскую половину) пусть обыскивают казаки, а в гаремлик (женскую) должна быть допущена только женщина, мусульманка. А казак ее может у дверей караулить. Нельзя, дескать, нарушать священных традиций и семейных устоев и восстановливать против себя мусульман в военное время.

Перевел мне Савельич последние пункты и я ахнул. Ведь это же зарез! Я говорю ему: — Переведи, пожалуйста, этому барану, что негде нам такой бабы взять. Не согласен с этим пунктом. Я сам в ханский институт полезу. Не испорчу же я его девочек, некогда будет.

А он мне руку стиснул и шипит: — Молчи, баба десятое дело. Кивай башкой и говори: «иес сер, вери гут».

Ну, сказал я «иес» и англичанин мне «иес». А потом он в буфет полез. Достал коньяк, бисквиты, фрукты. Выпили, пожевали и простились. Бумажку, все же, хитрец, сразу не выдал, а сказал, что в запечатанном конверте пришлет накануне обыска.

В дороге я у Савельича допытывался: откуда он такую бабу выкопает?

А Савельич шуточками да недомолвками отговаривается: дескать — подожди, узнаешь.

Еще одно обстоятельство нас смущало. Как всю эту затею от Сереги скрыть? Все же он командир дивизио-

на и ничего не знает. Неловко это. А расскажи ему, — он первый полетит свою краю отбивать.

К счастью, выручил случай. Сначала он чуть было всего плана не сорвал, а потом все по хорошему устроилось. Приезжаем домой, это уже 30 декабря было, видим — сборы. Казаки туда-сюда мотаются, кузница работает, коней на зимние подковы перековывают. В чем дело?

Встречает нас Кудашенко и заявляет:

— Поздравляю с походом, господа офицеры. А тебя, Савельич, с георгиевским крестом и производством в прапора. Вынимай из чёмодана серебряные погоны с гвоздиком и сядем за стол это дело вспрыснуть.

Оказалось, пришел от генерала Баратова приказ: «Сводному дивизиону с 3-й Забайкальской казачьей батареей выступить в направлении Килишинского перевала на соединение с главными силами, для поймки разбойного курдского князя Хассура. Оставить в Гюльпашане взвод забайкальцев».

И, можете себе представить, какая с Сережкой метаморфоза приключилась. Сидит, выпивает, закусывает, веселый, оживленный. И не пьянеет. А нас поучает: «вы, дескать, особенно на спиртуозы не налегайте, а пойдите по сотням, распорядитесь, чтобы у меня к утру все было в порядке. Я уже обо всем в главных чертах позаботился».

И о своей Нине — ни звука. Будто ее вообще и не было на свете.

Прошли мы после обеда с Савельичем в сотню, носы повесив. Как же быть с нашим планом, ежели завтра в поход отправляться? Чорт его знает, на сколько дней он затянемся, а в это время Абдурахман отправит нашу красавицу в турецкую неволю.

К вечеру мы порешили так: я скажусь больным, а Савельич, как десятая спица ко мне привяжется. Пусть Сережа обижается, чорт с ним.

Так ему и заявили. Сначала он обозлился.

— Не офицеры вы, а бабы. Посажу я вас обоих под арест за уклонение от службы.

Тут не выдержало мое сердце и ляпнул я напрямки.

— Ты, Сергей, нас не обижай. Друг ты или нет?
Болезнь моя — ерунда. И Савельича мне как няньки, тоже не надо. Только есть у нас одна причина именно сейчас дома оставаться. Можем мы и через пару дней к отряду присоединиться. А прикажешь, — и сейчас поедем.

Понял он тогда, пожал нам руки и сказал:

— Простите ребята. Я погорячился. Оставайтесь. Делайте свое дело, а как справитесь, ссыпьте в догонку на соединение. Я вам для связи посыльных буду присылать. И больше ничего не спросил.

Чуть свет — 31 декабря — дивизион выступил в поход, а в полдень пришел запечатанный конверт от майора Хелли. Через час прискакал Ахметка на своем буланом. Тоже крепко держал слово человек. Заперлись мы втроем в комнату, пьем, и закусываем и совет держим. Я опять за свое: где бабу взять для обыска? Савельич с Ахметкой чокается, подмигивает ему и говорит:

— Как где. А ты будешь бабой.

— Это почему, какая я тебе баба.

Смотрю и Ахметка зубы скалит, башкой кивает. Якши, мол, якши.

Тут Савельич мне пояснил: «фигура у тебя стройная, талия такая, любая курдянка позавидует. Наденем на тебя шальвары и антари, морду подрумяним и чадрой прикроем. Ахметку казаком нарядим, чтобы тебя у дверей караулил. А он под шумок с тобой вместе прошмыгнет. Ему ханские хоромы знакомы. Пока я буду Абдурахману зубы заговаривать, вы все дело в лучшем виде и обтяпаете. Записочку, что Кудашенко написал, Нина получила, старуха предупреждена и сторублевкой смазана — остается только действовать. Дом с четырех сторон для виду оцепим, а уж вы внутри орудуйте с Ахметкой по собственному усмотрению. А я постараюсь Абдурахмана в его кабинете подольше задержать. Для Нины узелочек с казачьей формой принесите. Шинелку, шальвары и папаху. У ворот

наши будут. А ежели кто посторонний, так можно при случае и в зубы. Там уже стесняться некогда будет.

Ахметка нам план дома расписал. Наметили мы кроки и стали к походу приготовляться.

В 9 ч. вечера начался маскарад. Снарядили меня, как невесту к венцу. Савельич грим наводил, Ахметка учил, как ходить надо и чадру носить. В 10 — Галданов коней подседлал. Накинул я сверх моего одеяния бурку и папаху, захватил узелок с формой для Нины и понесли мы с Ахметкой прямо к ханскому дому. Еду а у самого сердце екает, все мне казалось, что план наш сорвется.

Подъехали к дому, спешились. Ночь темная. Только кирпичная стена высоченная белеется. Через несколько минут должен и Савельич со взводом прибыть. А мы с Ахметкой заранее приехали, чтобы казаки моего маскарада не узнали. Все-таки неловко: командир сотни бабой переодетый. Посмотрел я на забор и подумал. Ежели придется через него сидать, так вспотеешь, руки ноги обдерешь. Завели мы коней на восточную окраину, обошли кругом. Во всех окнах темнота, только у Абдурахмана в кабинете освещено, да с правой стороны, в женской половине, огонек мерцает. Не иначе, как Нина, наша голубушка, сидит и ждет своего избавителя.

С полчаса походили, покурили. Кругом ни души. Наконец, слышим наши по дороге топают. Впереди Савельич, в бурку закутанный, за ними подхорунжий Подшивалов, сзади взвод: Оцепили весь дом. У ворот остались Савельич, два казака, Подшивалов и мы с Ахметкой. Начали в ворота молотить. Минут с десять барабанили. Наконец, вдалеке звякают засовы. Потом вторые, третьи, четвертые. Прямо как в сказке. Туфли по двору зашлепали. Человек с фонарем высунулся и пролаял что-то по персидски. Савельич ему строго ответил и он моментально скрылся.

Минут через пять вернулся еще с двумя. Открыли ворота, опять залопотали, теперь уже все трое. Повели нас через все ворота к главному входу.

Все в точности, как Ахметка в своем плане расписывал. Видим в главном зале лампы зажжены. Вошли мы в зал и столпились кучей. Я за колонну спрятался, чтобы казаки не увидели. Хотя и был я чадрой закрыт, а казалось, что все на меня смотрят. Провожатые наши куда-то скрылись, наверное пошли за ханом. Наконец, с левой стороны дверь отворилась. Ну, думаю, сейчас разбойничья рожа появиться. Не видали мы никогда Абдурахмана и по всяким небылицам, которые про него плели, представляли его этаким разбойником. И, вдруг, выходит маленький сухонький старичек, в халате, тюбетейке и туфлях на босу ногу. Бородка клинышком, лицо благообразное и даже симпатичное.

Савельич моментально к нему.

— Сейлям аллейкюм и все прочее.

Вижу я старичек улыбнулся приятной такой улыбкой и совершенно спокойно, на чистейшем русском языке, отвечает:

— Тут, очевидно, недоразумение. Никаких оснований для обыска я не вижу. Дайте, пожалуйста, ордер.

Взял у Савельича, не спеша, конверт распечатал, пробежал глазами.

— Да, — говорит, — все точно. Ну, что-ж. Я хотя и совершенно мирный гражданин, но ваше право, право сильного. С чего будете начинать?

Меня от стыда прямо в жар бросило. Вот, думаю, оскандалились.

Вижу и Савельич приуныл немножко. Но отступать было поздно, иначе еще хуже получится. Савельич быстро подтянулся.

— Мы, говорит, — с вашего разрешения сделаем так: мужскую половину вы нам сами покажете, а женскую пусть покажет кто-нибудь из ваших служанок: вы не беспокойтесь, сами туда не пойдем. У нас для этого женщина с собою захвачена.

Тут Савельич галантно расшаркался и прибавил:

— Вы уж извините за беспокойство. Мы солдаты и должны исполнять наш неприятный долг. Поверьте, что и нам никакого удовольствия не доставляет по

чужим домам лазить. Да к тому же у нас и Новый год наступает.

Старичек пожал плечами и в ладошки захлопал. Появились слуги. Сказал он им что-то по-персидски, а потом Савельичу по русски:

— Пусть ваши люди подождут здесь в зале, а вас, г-н офицер, прошу пожаловать ко мне в кабинет. Женщине вашей моя управительница все спальни покажет.

Пошли они с Савельичем в левые апартаменты и дверь закрыли. Казаки мои кисеты повытаскивали, козы ножки скрутили и махорку затянули. Дым пошел смрадный. Хотел я на них прикрикнуть, да во время спохватился, что на мне бабий наряд. А самому курить смертельно хочется. Но, нет, думаю, держись. Кто его знает, курят ихние бабы или нет. Да и чадра мешает.

Наконец открылись правые двери. Смотрю, вылезает из них них наша старая карга, знаком меня подзывает. Я к ней, а Ахметка, казаком переодетый, за мной. Иду, а самому кажется, что все на меня смотрят и видят, что мужчина, а не баба. Пропустила она меня в двери, а Ахметке дорогу загородила. Так он и остался с носом. Думал я, что еще какой-нибудь евнух появится с кривым ятаганом и потихонечку браунинг в карманах шальвар пощупал. Но ничего этого не случилось. Прогнала меня старуха через ханскую опочивальню, — богатая комната, вся в коврах, кровать с балдахином, подушки. Потом попали мы в полутемный коридор. Ну, думаю, теперь надо не зевать, а действовать. Приподнял я чадру, осмотрелся кругом, нет ли посторонних и говорю:

— Ну, старуха, веди меня прямо к Нине, ничего больше не показывай.

А она от меня шарахнется, как от зачумленного

— О, господин, прямо ужас, что вы такое делаете: Ведь это же разбой! Барышни мои так с вами шутили, а вы всерьез подумали.

Ну, думаю, это она мне зубы заговаривает.

— Врешь, — говорю, — плохие теперь шутки. Раз уж сюда я попал, то дело кончено

Заохала, она, заахала, а все же повела. Пришли в самый конец коридора, в дверь, какую-то постучали. Слышу, женский голос отзыается. Затрепетало тут мое сердце, как овечий хвост. Тут она наша красавица. Старуха в двери шмыг. Нет, думаю, постой, сейчас ты удерешь и гвалт поднимешь. Нажал я плечиком на дверь и тоже за ней вслед. Вошел и остался. Думал увидеть эдакое ультра восточное, как покой шемаханской царицы, а попал словно в будуар петербургской дамы. Кроватка девичья со стеганным одеяльцем, туалет модный, трехстворчатый. Пианино. Стоячая лампочка с розовым абажуром. В глубине — овальная ниша, ширмой прикрытая и никого нету. Вдруг слышу голос:

— Одну минуточку, я сейчас.

И выходит из-за ширмочки что-то неземное, воздушное, в легкой ткани. Лицо воистину ангельское и совсем не брюнетка, как я того ожидал, а шатенка, почти блондинка.

— Нина! Я вас напугал? Простите. А сам шарю по своим бабьим шальварам, записку проклятую ищу. А она в моих бриджах осталась.

Посмотрела она на меня, да как расхохочется.

— Отчаянный вы народ, казаки!

Меня этот смех немножечко обидел.

— Нина, — говорю, — каждая минута дорога. Сейчас могут сюда притти. Мой друг поручил мне немедленно увезти вас отсюда. Собирайтесь.

Тут старуха проклятая опять вылезла откуда-то и заохала, запричитала, словно рязанская баба. Но Нина, ей что-то на ухо шепнула и она успокоилась. После этого красавица моя стала серьезнее.

— Ну, рыцарь, как же мы побежим?

— Вы, говорю, в казачье платье переоденьтесь и быстро через зал на двор. А я за вами. А там на коня и айда.

Сказал, а сам вспомнил, что узелок то с платьем у ворот остался. Ох и осел же! Как тут быть?

Объяснил я ей в чем дело.

— Это, — говорит, хуже. В своем — ни в чем не могу выйти. Сразу заметят.

Тогда я решился на отчаянную штуку.

— Зните, что Ниночка. Надевайте вы мой наряд. Для вас и для своего друга я на все готов. Я за ширмой разденусь, вы наряжайтесь и бегите на двор. Казаки вас не остановят. А я уж как-нибудь проберусь. У ворот оденусь и поедем.

Так и порешили. Полез я за ширму, скинул с себя все и остался, извините, в одних подштанниках.

Ниночка тоже долго не копалась. Снарядилась и побежала. Остался я за ширмой, стою, как болван и думаю: что же делать. Хоть бы Ахметка проклятый с узелком появился. Вдруг гляжу — бурка в углу висит. Вот оно мое спасение! — Накинул я ее и в двери. Темно и никого. Понесся я быстро коридором, пролетел черезabdурхамановскую спальню и выглянул в зал. Гляжу в нем никого. Неужели же все смылись? Не может быть. Наверное, Савельич еще в кабинете с ханом разговаривает. Прошмыгнул я во двор к внутренним воротам. Вижу — фигура. Подшивалов. Он меня за бурку.

— Стой!

— Пусти, — говорю, — это я.

— Ваше высокоблагородие, вы здесь?

— Да, да, после объясню. Где Савельев?

— А они еще у Абдурхманки в кабинете сидят, чай пьют. А меня послали сюда караулить.

— А женщина проходила?

— Так точно. Прошла одна. Кажись та, что обыск делала.

— Ну, хорошо. Я сейчас пройду на улицу. А ты ма- ленько обожди и эдак через четверть часика доложи его благородию, что все в порядке. Пусть немного по- года выезжают. Понял?

— Так точно. Слушаюсь.

Полетел я стремглав по двору, чуть в бассейн не угодил. Подошел к последним воротам. Смотрю, опять кто-то караулит. Поставили они тут караулы на мою

голову. А я только в бурке, а под ней кальсоны. Вот окаяния!

К счастью, это Ахметка оказался.

— Куда же ты пропал, еловая голова.

— А ты чего ругаешься. Ты же узелок с одеждой у ворот забыл, я за ними и побежал, а когда вернулся, вижу у ворот ваш казак стоит, Пошивайла. А он бы меня не пропустил, подумал бы, что я с ханом заодно. Понимаешь.

— А где Нина?

— А там, за воротами.

— Ну, давай узелок.

Одеся я быстренько, вышел за ворота, отыскал Нину. А ночь холодная, зазябла она у меня бедняжечка. Привел Ахметка коней, вскочил я на свою рыжую «Фатьму», взял Нину поперек седла и понес карьером к дому.

Ахметка едва за мной поспевал. Еду и чувствую, что девочка моя не каменных устоев. К жениху нареченному едет, а ко мне прижимается. У меня тоже эдакое томление в сердце. Такую, можно сказать, красоту везу.

Ну, нет, думаю, не поддамся соблазну, я друга своего никогда не надую!

Доскакали мы до дому мигом. Снес я Нину в квартиру на руках, Галданова поднял, велел ужин приготовить. Нину в свою койку уложил, напоил ее чаем, коньяку заставил выпить. Хлопочу около нее, а у самого сердце неспокойно. А вдруг старик спохватится и поднимет праздничный трезвон? А девочка отогрелась, глазками в меня постреливает, все ей нипочем. Забавное, мол, приключение. И все норовит за меня зацепиться. То головку на плечо положит, то за руку возьмет, то словно обнять хочет. Бросало меня от этого и в жар и в холод. Сами понимаете не сто лет мне было, а всего двадцать шесть.

Вздохнул я свободно, когда, наконец, Савельич появился.

Справляюсь я потихоньку:

— Ну, как, друже, не поднял старик детского крика?

— Нет, ничего, все спокойно.

— Обиделся?

— Может и обиделся, но виду не показал. Мы с ним друзьями расстались. В гости звал, Фирдусси в подлиннике читать. Культурнейший человек.

Сели мы за стол и вспомнили, что Новый год наступил. Чокнулись.

Савельич тост произнес в честь жениха и невесты. Нина нас всех очаровала. Даже Галданов топал около нее эдаким рождественским гусем и улыбался во всю свою бурятскую тарелку.

Перед самым рассветом, только мы уже на покой собирались — слышим на улице конский топот. Что за оказия? Уж не погоня ли за Ниной?

Выскочили мы в прихожую. Смотрим — дверь открывается и Серега на пороге.

— Что случилось?

— Отставили поход. Хассура войсковой старшина Семенов у Килишина поймал и разнес в пух и дребезги. Чорт его побрал этого разбойника. Зря съездили. Ребята, жрать хочу.

Тут я его в сторону отвел и шепчу.

— Не ходи, Серега, в столовую. Пойди к себе, помойся и переоденься. Мы тебе сюрприз приготовили.

Пошел он в порядок себя приводить, а я руки потираю. Вот-то будет радостная встреча двух влюбленных. А самого точно будто в сердце что-то колнуло. Надо признаться, что сам я тогда голову потерял.

Опять стол накрыли, надо же было Сережку накормить. Бутылки поставили. Все равно уж спать не придется. На то и Новый год. Наконец и жених появился. В новой черкеске, гозыри золотыми цепочками позывываю, кинжал серебряный. Картинка! Вошел, поклонился с порога и эдак церемонно подходит к Нине.

Вижу я, что что-то не в порядке.

— Что-ж, — говорю, — за холодная встреча. Тут все люди свои. Обними, друг, свою невесту. Зря мы, что-ли старались.

А он смотрит на меня и серьезно отвечает:

— Обнять прекрасную девуышку всегда приятно, но, к сожалению, ты меня еще даже не представил. Не имею чести быть знакомым.

А она покраснела и руками лицо закрыла. Что такое?

— Ты с ума сошел, Сергей, что-ж ты Нины не узнал?

— Это же не Нина, дружище.

Я к ней. Она в слезы.

— Нина, — говорит, — уехала. А я ее сестра, Людмила.

Тут Сергей всполошился:

— Увезли, в Турцию? Продали? ?

— Как так продали? ? Что вы с ума сошли? Разве дядюшка может это допустить?

— Какой дядюшка?

— Да наш дядюшка, хан Абдурахман.

— Ничего не понимаю. Почему же Нина спасти ее просила?

— А просто пошутила. Глупо, конечно. Ее это забавляло. Не думала она, что таких романтиков встретит. Я теперь жалею, что она уехала. Хотя, впрочем, опасно...

— Что опасно? Разве мы разбойники?

— Да не потому. Боюсь, что влюбилась бы...

— Ну и что же?

— У нее жених в Тифлисе, грузинский князь. Очень ревнивый.

— Да разве вы из Тифлиса?

— Ну, конечно, мы там и гимназию кончили.

Тут я вмешался.

— Знаете, милая барышня. К сожалению, незнаком с вашей сестрицей. А если бы был знаком, то и всыпал бы я ей двадцать пять горячих за такие шутки. А, кроме того, почему вы мне сегодня ничего не сказали, когда я к вам ворвался. Я же вас Ниной называл, а вы этого не отрицали. Кто-же по вашему больше романтик? Ведь, если бы вы мне это объяснили, то никакой истории бы не было. А теперь что? Скандал. Вам то может быть ничего, ну розги или в угол поставят. А нам каково?

— Не беспокойтесь. С дядюшкой я сама уложу. Он у нас добрый. Это вы его только разбойником сделали, продающим своих собственных племянниц в Турцию. Вот он будет смеяться, когда все это узнает.

— Ну, ладно, будем надеяться, что дядюшка простит и нас тоже. Только все же почему вы сразу не сказали, что вы не Нина?

— А это мой секрет. Может быть я...

А что может быть, так я и не мог добиться.

Само собой разумеется, что в ту ночь мы так и не спали. И как то не думалось ни о каких неприятностях. Правда, выпито было порядочно, хмель в голове шумел и все было нипочем.

Первый, как всегда, пропрэзвел Кудашенко:

— Знаете, ребята, а дело то все-таки неладно. Хватится, старик нашей Людмилочки. Догадается какой ее Руслан похитил.

Тут состоялся семейный совет и решили так. Людмилу под почетным конвоем довезти до дома. А самим часам к двум, пропрэзвев и опохмелившись, явиться к дядюшке с визитом и еще раз извиниться за беспокойство. Авось все обойдется. По правде, мы немного приуныли. Налетели на почтенного человека ночью, вытащили его из постели, племянницу своровали. Поганое дело! А Людмила нас успокаивает.

— Все, — говорит, — пустяки. Седлайте коня, я поеду и все уложу. Вы меня проводите?

— Провожу ли? Я для нее тогда готов был один на Килишинский перевал к Хассуру ехать, не только что до дома проводить.

Проводил я ее до дома, посмотрел, как она, кивнув мне головкой, в воротах скрылась. Оказались они открытыми и никакой в них таинственности больше не было.

А в два часа приехали мы втроем с визитом. Чувствовали себя не совсем приятно. То ли похмелье еще не прошло, то ли совестно перед стариком было. Но все наши опасения оказались напрасными. Принял нас Абдурахман очень радушно и к столу пригласил. Люд-

милочка тоже за столом присутствовала. Старик при этом заметил:

— Вы не удивляйтесь. Правда, по нашим законам и не полагается женщине при посторонних быть, но мои племянницы христианки, они в русском духе воспитаны. Попробуйте их в чадру закутать. Так, разве, шутки ради, наденут, чтобы молодых людей смущать.

А потом, подливая мне вина, прибавил:

— Скажите, есаул, что вы вчера в моем гареме видели?

И сам улыбается... Я готов был сквозь землю провалиться.

А Людмилочка мне через стол сигнализирует. Я посмотрел на нее и отвечаю:

— Нашел там одну жемчужину.

— И похитили? А вы знаете, что с подобными похитителями делают?

— Казнят?

— Эх, молодой человек. Казнь, это один момент, временное болевое ощущение, минутное физическое неудобство. С похитителями таких жемчужин поступают гораздо хуже. Их... женят... на жемчужине...

Вон он куда старик загнулся. Что-ж мне по вашему оставалось делать?

Я отвечаю:

— А если жемчужина не согласится?

Тут вмешалась Людмила:

— Жемчужина вчера сама сказала...

Запнулась и покраснела. Понял я теперь о чем она вчера не договорила.

Тут поднялся Серега и сверкая белой черкесской, рубанул, по казачьи:

— Записал, ты, дружище, в женихи меня. И невесту как будто бы для меня похищал. А теперь сам женихом сделался. И поделом тебе. Поздравляю!

Так окончилось наше новогоднее приключение в «гареме».

А потом Сережа у грузинского князя Нину отбил и мы с ним родственниками стали. Но это уже другая история.

ВЕДЬМА С ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ

Иногда случаются странные встречи с давно забытыми людьми. Если отнесешься к ним с точки зрения текущего момента — они не нужны и, пожалуй, даже вносят путаницу в размеренную пустоту привычных дней.

Но если мы найдем в себе достаточно силы немного задуматься над такой встречей, то становится ясной их связь с прошлым. Иногда можно даже дерзнуть и добавить: и с будущим тоже... Каждая такая встреча — окончание рассказа, начатого когда-то и брошенного.

Мой знакомый — кино-актер, уже стареющий, но еще способный увлекать... на экране. Благородный любовник во фраке. Мы столкнулись с ним на вокзале, за полчаса до отхода поезда, с которым он уезжал за границу.

Мы уселись в вокзальном буфете и заказали себе ужин. Передо мной сидел усталый человек. В нем не было ничего прежнего — до его кино-карьеры — и ничего экранного. Ни великолепных жестов, наигранных эффектных поз и всего того, что пленяет экспансивных девиц. Хорошо одетый, слегка седеющий человек с громким именем и катаром желудка.

— Я слышал о тебе от барона Ферзена, — сказал он едва прикоснувшись губами к бокалу пива. — Ты пишешь. Не буду тебя уверять, что я читал что-нибудь твое, я вообще ничего не читаю. О чем ты пишешь?

Я пожал плечами...

— Обсасываю прошлое, как старый, но милый леденец.

— Прошлое!

Он отодвинул от себя тарелку и задумался, опустив голову. Через минуту поднял ее и сказал слегка изменившимся голосом.

— Ты помнишь нашу последнюю осень в Смоленской губернии?

Я кивнул головой. О, конечно, разве я мог забыть о ней! Такие дни не забываются!

1917 год... Где-то в городах гремела марсельеза, собирались толпы, говорились бесконечные речи. А здесь — на тихие липовые аллеи запущенного барского сада мягкосыпались желто-оранжево-красные листья. Они были повсюду, ими был усеян пол веранды, по утрам ветер гнал их в раскрытые окна старинного помещичьего дома. Я собирал их целыми охапками и ставил эту яркую гамму красок в хрустальные вазы вместе с последними доцветающими астрами. Как чудесно пылали эти разноцветные яркие пятна в осенних сумерках, среди старинной мебели красного дерева, на фоне поблекших штофных обоев. Это был фантастический, оторванный от всех земных событий, еще не раненый революцией уголок. В нем жили трое мужчин и одна женщина, не считая старого кучера и его жены — прислуги.

Прекрасная дама и три пажа...

Это была странная, совсем не современная девушка, в причудливых платьях собственных рисунков, читавшая по вечерам Блока.

Она была молодая хозяйка, мы — гости. Ее родители, напуганные революцией, переселились в Смоленск, а дочь, мало считавшаяся и с событиями и с родительской волей, заявила, что не оставит именья.

Ее звали Тина, уменьшенное от Антонина. И это имя как нельзя более подходило ко всему ее странному облику и изменчивому характеру. Никогда нельзя было понять, говорит ли она серьезно, или смеется, любит или издевается. Ее глаза — цвета речной тины — притягивали, обволакивали и отталкивали. Бывают такие глаза, в которые лучше не смотреть: засосут, как в трясицу. А мы — гости — были все разные, и, несмотря на внешнюю дружбу — пожалуй, даже слегка враждебные друг другу. Я писал ломкие, хрусткие, как первый тонкий лед на лужицах, стихи и по вечерам их звонкие хрустальные осколки звенели, разбиваясь о насторон-

женнюю тишину старого дома. Иногда садился за рояль и без устали играл Шопена, Грига и собственные импровизации. А в промежутках созерцал тайную борьбу, шедшую между моим другом, тогда еще студентом, и Тиной. Его любовь созревала медленно и мучительно, то встречая неясные намеки, похожие на согласие, то погружаясь в болото насмешек и явного пренебрежения.

Третий был лихой кавалерийский поручик, простая душа, не отягченная излишним грузом философии. Его взгляды на жизнь и любовь были четки и несложны, как «генерал-марш», как взмах драгунской шашки. Он брал женщин лихой кавалерийской атакой в «лоб», никак не заботясь о последствиях.

Мы жили странной жизнью взаимного притягиванья и отталкивания.

Тина обладала удивительной способностью выделять в нас нужные ей черты и приближать к себе лишь в этих пределах, отбрасывая остальные. Мне она доверяла свои литературные опыты, читала Блока и иногда пела под мой акомпанимент. С поручиком лихо скакала через рвы и заборы... Моего друга, тогда еще и не мечтавшего о кино-карьере, ценила, как остроумного собеседника и устраивала с ним оживленные диспуты на самые разнообразные темы. Кроме того, из всех троих он один имел официальное, хотя и весьма проблематическое, звание жениха. Таковым, по крайней мере, его считали родители Тины, хотя сама она и мы с поручиком относились к этому весьма скептически. Это не мешало ему, однако, через два дня в третий делать ей предложения, на которые Тина отвечала смотря по настроению: сегодня «да», а завтра «нет».

Я молча наблюдал эти взлеты и падения моего друга и безуспешные атаки поручика.

Наконец, как всегда, пришел конец. Всему. Осени странной жизни вчетвером, любви моего друга, атакам поручика.

Как же я мог забыть все это!

Он пытливо вглядывался в меня, стараясь угадать мои мысли:

— А ее, Тину, ты помнишь?

— Ну, еще бы! Она не из тех, которые так скоро забываются. Ведьма с зелеными глазами!

— Да, ведьма. А ты знаешь, почему я тогда уехал так внезапно?

Я промолчал. Лучше чем кто-либо я знал это.

— Конечно, это было чрезвычайно глупо с моей стороны. Накануне всего этого мы с ней говорили совершенно серьезно. Это было последнее объяснение. Вы с поручиком были где-то в деревне. Ее надо было заставить дать окончательный ответ. И она мне сказала: «да». Совершенно серьезно и бесповоротно, понимаешь. Я в первый раз видел ее такой взволнованной и робкой. И потом прибавила, точно про себя: «сегодня ночью». Ты, надеюсь, понимаешь, что мне не была нужна эта ночь, но эти слова как бы подтверждали бесповоротность ее решения. Ты же знаешь, какой она была для всех нас недосягаемой! И вдруг эта фраза. И потом... Ты, конечно, не забыл ее комнатки наверху! Глупости я говорю, как же можно забыть... эту скрипучую лесенку, эту голубую девичью комнатку! Святая святых, табу! И, вот, ночью я шел туда. Боялся каждого шороха, скрипа. Постучал. И вдруг... Это было так неожиданно, как удар по голове. Она вышла бледная, жалкая, растрепанная. Я хотел обнять ее, сказать так много. И слышу: «Уходи, уходи, я не могу впустить тебя... Я не... не одна...

Я повернулся и ушел. Что, по твоему, можно было ответить на это? Все рушилось, все погибло! Я был уверен, что там поручик. Мне давно казались подозрительными эти верховые прогулки, эти лошадиные разговоры. Ты, конечно, можешь понять мое состояние.

— И ты никогда ее больше не видел?

— Десять лет спустя... в Берлине. Я уже крутил, она тоже.

— Она кино-актриса?

— Ну, конечно. Господи, да на каком же свете ты живешь! И ты знаешь, я спросил ее при встрече: кто? И она мне ответила, ты прямо не поверишь...

Он улыбнулся...

— До чего все это было глупо! У нее тогда никого не было! Это было только испытание! И этот день там в Берлине, когда она призналась мне, был самым счастливейшим днем моей жизни. С меня свалилась огромная тяжесть. Тяжесть сомнений в ее чистоте, в святости маленькой голубой комнатки. Господи! Как мы можем иногда ошибаться!

— И что же дальше?

— Ну, теперь я женат, живу спокойно.

— Ты женат? На ком?

— Да на ней же, на Тине. Разве ты этого не знал? Об этом давно прокричали все газеты.

— Милый мой, да ведь это настоящий кино-роман с хеппи эндом.

Он устало усмехнулся.

— Хеппи энд! Да... Тогда у нее не было никого... Но зато теперь! Если бы ты знал, какой это горький хеппи энд!

Подали поезд. Мы молча вышли на перрон. Он шел впереди не оглядываясь, точно забыв о моем существовании. У самого вагона обернулся. Лицо его внезапно прояснилось, точно освещенное изнутри.

— Ты знаешь, — сказал он, — как это ни странно, но этот маленький кусочек прошлого, хотя я и узнал правду много лет спустя, дает мне силы переносить настоящее. Все изменения, сцены, истерики, весь этот ад, имеющий семью жизнью. За прошлое я прощаю настоящее. До-свиданья.

Мне хотелось крикнуть. Не верь прошлому! Оно так же обмануло тебя, как и настоящее, как обманет будущее. Вместо этого я пожал его руку, и он, слегка сутулясь, полез в вагон.

Как я мог отнять у человека его последнюю надежду, последнее прибежище, веру в прошлое? Верю в не-

существовавшую никогда белоснежную чистоту маленькой комнатки, странной девушки, ведьмы с зелеными глазами! Я вспомнил огненные слова «Молитвы» Гумилева:

«Солнце сожги настояще во имя грядущего,
Но помилуй прошедшее!»

И лишь теперь, впервые, понял их глубокий смысл:
Помилуй прошедшее!

Он никогда не узнает и не должен знать, что в ту ночь в маленькой комнатке был я...

„НЕЙТРАЛЬНАЯ“ ЕЛКА

Позиция была очень скучная, — никакой войны, просто самое обыкновенное сторожевое охранение. А для конной части—это смерть Лошади у коноводов, за несколько верст от позиции. На заставу и в полевые караулы надо шататься пешком, проваливаясь по колено в рыхлый снег и вспоминая при этом всех родственников по восходящей и нисходящей линии. А тут еще приближалось Рождество. И хотя все казаки получили огромное количество подарков, — все же настроение было не очень хорошее. А больше всех томился командир сотни, молодой есаул Кравченко. Отпуск в Петроград прошел мимо носа. Счастливый жребий достался командиру другой сотни. Единственно, что немного примирило Кравченко с отпускной неудачей — это то обстоятельство, что счастливый «соперник» имел в Петрограде жену и двоих детей, а у него там жила только старушка-мать. Вполне естественно, что пожилой есаул Коршунов имел больше оснований для поездки. Поэтому Кравченко скоро примирился с этим обстоятельством. Злило его только фронтовое затишье. После «веселого» лета 1915 года, изобиловавшего тыловыми рейдами и конными атаками, переход на позиционное сиденье был очень неприятен.

Межу сотней Кравченко и неприятельской частью лежал небольшой лесок, километров в 10, с вырубленной в нем довольно широкой просекой. Посредине находилась оголенная полянка, и небольшое озерко. По одну сторону озерка стояли немецкие посты, а по другую русские. Озерко и полянка были чем-то вроде нейтральной зоны, куда не совались ни казаки, ни немецкие драгуны.

По просеке тоже гулять не рекомендовалось, так как

подобных гуляк немедленно поливали из пулеметов. Кравченко от скуки шатался по лесу с винтовкой, заходил иногда на нейтральную зону и для собственного развлечения постреливал в немецких часовых. Делал он это без всякого озлобления, только ради спорта. Немцы тоже делали подобные вылазки. Часто затевалась нешуточная перестрелка, заканчивавшаяся артиллерийской стрельбой, с немецкой стороны.

Дней за 10 до русского Рождества немцы вдруг почему-то притихли. Совершенно прекратились артиллерийские обстрелы, на поиски наших разведчиков и одиночную стрельбу с русской стороны они или совсем не отвечали, или отвечали нехотя, точно отмахиваясь от надоедливых мух. Кравченко и младшие офицеры сотни недоумевали. В чем дело? Что такое случилось с лихими немецкими драгунами? Решили навести справки. Послали самых опытных разведчиков. Ночью, они, перейдя нейтральную зону, и обойдя передовые посты, подползли к неприятельской заставе.

Кравченко, ожидавший их под елкой на нейтральной полянке, тщетно прислушивался, ожидая, когда загремят разрывы ручных гранат и начнется, как он называл «на лужайке детский крик». Ничего подобного не произошло. Он начал уже беспокоиться: не попались ли его разведчики в ловушку. А вдруг немцы перехитрили и поймали молодцов как в сети рыбу?

Он хотел вернуться к своей заставе и, взяв полузвод, итти на выручку, как вдруг услышал около себя шорох. Кто там? Неужели разведчики вернулись без всяких результатов? Так и есть. Из снежного сугроба вынырнули две фигуры в белых обмерзлых балахонах.

Кравченко выругался.

— Ну что же вы, так вас и так, ничего не узнали? А еще разведчики... Ему было обидно, что два самых лихих казака из его сотни, Кибирев и Золотухин, не выполнили приказания и повернули обратно.

— У заставы были?

— Так точно были...

— А почему гранаты не кидали?

Казаки смущенно топали на месте...

«Тут что-то неладно, — подумал Кравченко, — не такие ребята, чтобы испугаться.»

— Никак невозможно было ваше высокоблагородие, — наконец, заговорил маленький рябой Кибирев.

— Почему невозможно? Ну, расскажите толком.

— Так что, подползли мы к ихней* сторожке. Золотухин обошел слева, чтобы в случае чего оттуда мне помогчи, а я в ихнюю избу в окошко с правой стороны глянул. Гляжу — в хате свет, сидят немцы за столом, а на столе елочка горит, вся разукрашенная. Немцы, видать, не то чтобы пьяные, а веселые. Поют себе песни, будто никакой войны нет. А уж мы с парей Золотухиным ползли так рисково, только бы поскорей. И никого не встретили. Ну, я постоял, постоял, подумал — трахнуть им в окошко гранатку, а потом вроде совестно стало. Не иначе, ваше высокоблагородие, как немцы свое Рождествоправляли. Только мне невдомек, чего это они так рано собирались. До нашего то, почитай, две недели еще осталось.

Кравченко расхохотался. Вся досада его на казаков прошла.

— И в самом деле, ребята, у немцев сегодня первый день Рождества. Они его раньше нашего справляют, на 13 дней. Бог с ними, хорошо сделали, что не подняли шуму.

Возвращаясь назад, Кравченко, может быть, впервые за полтора года войны, подумал о том, что в сущности никакой злобы к противнику у него не было и не могло быть. Воевал честно, исполнял все приказания, ходил в конные атаки, 12 дней блуждал в неприятельском тылу. Молодой энтузиазм бессознательно увлекал его в самые рискованные предприятия. Но ни в себе самом, ни в своих казаках он ни разу не замечал даже тени какой-нибудь ненависти.

Рассказ Кибирева о немецкой елке разбудил его детские воспоминания. Хорошо бы сейчас тоже посидеть дома у елочки. Горят свечки, висят конфеты, пряники, всякие финтифлюшки. Наверху, непременно звезда. Внизу вата, вроде снега, а на ней подарки. И каждый

должен нырять под елку и доставать свой пакет. А ночью, когда все разойдутся, — хорошо потихоньку обдирать елку. Натащить в кровать всякой всячины и так заснуть в куче пряников, с измазанными шоколадом лицом и руками. — Фу ты чорт!

Кравченко устыдился своих воспоминаний. Хорош, нечего сказать, командир сотни! Казаков за всякую всячину под арест сажает, а сам думает о том, как ночью елку обдирать.

Утром, за скромным завтраком в сторожке лесника, Кравченко был хмур и задумчив. Младшие, офицеры, по возрасту мало отличавшиеся от своего командира, исподтишка подсмеивались над его настроением.

— Ну, ты чего засох, Петя, — спросил наконец сотрудник Кайдалов. — Выпей лучше водки и все пройдет.

Кравченко машинально выпил полстакана, закусил ветчиной.

— Знаете что, ребята. Давайте устроим номер. Скучно так зря сидеть.

— Какой же это номер ты думаешь? Командир полка и так на нашу сотню косится. Начальство, брат, не любит наших фантазий. Достаточно, что тебе въезд верхом в женскую баню гладко сошел. Могли бы разжаловать.

— Я тебе про дело, а ты женскую баню вспомнил. Теперь я другую штуку придумал. У немцев, друзья, через несколько дней Новый Год... ну...

— Ну и ты хочешь им бенефис закатить?...

— Дурак, а если тебе в сочельник немцы бенефис закатят, так ты будешь радоваться? Вместо елки — палку... Нет, братцы, не то я хочу. Устроим немцам под Новый Год елку... Чего вы глаза плятите... Сделаем нашим приятелям драгунам небольшой подарок. Знаешь там у озерка есть такая чудесная елочка. Я, когда вчера Кибирева и Золотухина под ней дожидался, то думал: хорошо бы ее срубить и в Петербург отправить. Уж очень она красива. А теперь мне пришло в голову — как нибудь ее разукрасить, повесить на нее всякой всячины и написать немцам что-нибудь эдакое приветственное. Ты, Ванюша, по немецки хорошо

понимаешь, вот и изобрази. Пусть радуются. Думаешь им приятно в праздники в этой поганой дыре гнить?

Идея Кравченко всем понравилась. Решено было командировать завтра же одного из офицеров в соседний городок за покупками.

Хотя эта затея держалась в строгой тайне и из казаков в нее были посвящены лишь немногие, — скоро о ней узнала вся сотня. И когда в вечер кануна немецкого нового года, Кравченко и его взводные командиры, вместе с вестовыми, собрались уже ехать на санках украшать елочку — в сторожку вошел сотенный вахмистр подхорунжий Пакулов, и усмехаясь в усы доложил:

— Ваше высокоблагородие. Так, что у казаков к вам прошение есть...

— Какое, Пакулов. Чего хотят ребята?

— Просють дозволения, чтобы немцам па елку кое-чего отправить. Пособрали ребята того сего... Кто что может, тот и даст.

— Хорошо, голубчик. Скажи ребятам, что разрешаю. Только чтобы не болтали очень. Влетит нам от командаира полка.

— Будьте спокойны. Промеж себя все сделаем.

*

Утром, в первый день Нового года, немецкий часовой, сменивший своего продрогшего на посту товарища, оглядывая в бинокль озерко и неприятельскую сторону, увидел странное явление. Елка, самая обычная елка, одиноко торчавшая на противоположном берегу и давно наскучившая всем постовым, сменившим друг друга, блестела золотыми и серебряными украшениями и развшанными на ней разноцветными пакетами. Часовой пощупал лоб, не бредит ли он. Впрочем, хотя он и порядочно выпил накануне Нового Года и коньяку и пива, но все же не был настолько пьян, чтобы видеть то, чего нет на самом деле.

Его разобрало любопытство. Он тихонечко пополз через озеро и приблизясь к таинственной елке увидел на ней не только пакеты, но и множество заманчиво блескивающих бутылок, а внизу большой плакат с

надписью по немецки: «С Новым Годом, драгуны!» Внизу, помельче, была сделана деловая приписка. «Веселитесь, беспокоить не будем». И подпись: командир I сотни Н-ского казачьего полка, есаул Кравченко.

Седоусый, пожилой ротмистр, командир немецкого драгунского эскадрона, лично выехал на место необычного происшествия. Полюбовавшись елкой и выпив стакан крепкой русской «очищенной», ротмистр приколол к елке свою визитную карточку, на которой написал: «Покорно благодарю за поздравления и подарки моим драгунам. Покорнейше прошу пожаловать на елку для казаков, 7-го января, в русское Рождество. С наилучшими пожеланиями: командир эскадрона Освальд, фон Прюссинг».

И тут же отдал приказание вахмистру: «драгунам, повзводно, приходить на елку, брать подарки, соблюдая полный порядок. Если появится кто-нибудь с неприятельской стороны, — встретить вежливо и с уважением. О появлении неприятельского офицера — немедленно доложить мне лично».

На первый день русского Рождества у той же самой елки собирались казаки, осторожно снимая с ее пушистых заснеженных ветвей бутылки с коньяком, банки немецких консервов, сигары и другие ответные подарки.

А после Нового Года по старому стилю Кравченко был вызван в штаб бригады к суровому, но рыцарски-прямому и великодушному генералу Крымову.

Стараясь скрыть бегающие в глазах веселые огоньки и пряча улыбку в седые усы генерал заметил:

— Есаул Кравченко! Ваши номера мне надоели.. Я простили вам триумфальный въезд верхом в женскую, баню. Но за «перемирие» и елку на фронте, вы полу-чите мужскую баню. Смешаю вас с сотни и извольте посидеть в штабе бригады под арестом.

Так окончилась «эпопея» с «нейтральной» новогодней елкой. Впрочем, Кравченко просидел под арестом недолго. Бригада перешла в Лесистые Карпаты и генерал Крымов, сменив гнев на милость, вернул сотне ее беспокойного командира.

ПРИНЦЕССА ИЗ ТИРА

Это было увлечение, подобное солнечному удару. Внезапное и неповторимое. Он приехал в совершенно чужой для него город, который был просто этапом во время безостановочного продвижения войск на восток. Островерхие черничные крыши, нахмуренная готика соборов, узкие улицы старого города—все это в сумерках мягкого декабрьского дня напоминало о чем-то небывшем, но, виденном когда-то: может быть в снах, а может быть в юношеских грезах. Во всяком случае, в этом городе он был в первый раз и, тем не менее, здесь все решительно было знакомо. И чудесная девушка, с которой он случайно познакомился, тоже была какая-то близкая, своя, кусочек сна, виденного когда-то очень давно и внезапно повторившегося в зрелые годы.

Знакомство было слишком мимолетным для того, чтобы превратиться в серьезный роман, требующий немедленного завершения, и достаточно ярким, чтобы можно было забыть о нем при отъезде.

А потом начались фронтовые, полные жертвенного напряжения боевые дни. Танковый дивизион, которым он командовал, находился в стремительном движении на восток, и у него не было времени думать о маленьком старинном городке и оставленной там девушке. Жизнь представлялась ему огромным тиром, в котором он был неутомимым стрелком по движущимся мишням. Разница заключалась лишь в том, что стрелок в тире неподвижен, а ему приходилось стрелять на ходу, сбивая неприятельские танки или расстреливая движущиеся пешие колонны противника. Это сравнение в конце концов могло превратиться в своего рода навяз-

чивую идею, но он был еще достаточно молод и не настолько переутомлен, чтобы подобная идея прочно укрепилась в сознании и отравила мозг.

Однажды, после серьезного боя, на отдыхе в маленькой заснеженной деревушке, в тяжелом полубредовом сне он увидел наконец ту, о которой подсознательно мечтал все это время. Но, Боже мой, что за странный это был сон!

Он увидел себя в каком то узком, но довольно длинном помещении, стоящим перед поперечным прилавком, преграждающим ему дорогу. За прилавком, в глубине комнаты, шевелилась какая-то картонная женская фигура. Ее лицо, освещенное цветными огнями, показалось ему странно знакомым. Где он видел этот чудесный овал лица, капризную линию губ, смеющиеся глаза и чуть приподнятую левую бровь, придававшую всему лицу чуть насыщивое выражение?

И только когда невидимые руки подали ему карабин и он понял, что нужно стрелять в эту качающуюся очаровательную мишень, целясь в круг, изображенный на левой стороне груди, на самом сердце, он узнал ее. Ведь это же была она, его полузнакомая незнакомка из маленького старинного городка с островерхими крышами, на которых снег казался ватой, небрежно наброшенной на рождественскую елку. Это была несомненно она: хотя и картонная, но вместе с тем настолько живая и реальная, как это может быть только во сне. И самое странное было то, что стрелять в нее не показалось ей чудовищным преступлением, а исполнением какого-то долга, соединенного с сознанием важности попадания.

А она раскачивалась, улыбалась ему, вскидывая свою изумительную подвижную левую бровь и пела:

«Я принцесса из тира,
У меня картонное сердце,
Попади в него, — и я упаду к твоим ногам,
Но если промахнешься,
То можешь объехать полмира
И нигде не найдешь покоя
Усталым глазам»:

Песенка эта была довольно нескладная, но, так как он сам не был поэтом, а кроме того её пела «она», — мотив и слова врезались в его память.

Привычным движением стрелка он вскинул карабин, прищурил глаз и нацелился в роковой кружок картонного сердца. Странный это был карабин! Вероятно за секрет его конструкции дорого заплатили бы обе воюющие стороны. Оно стреляло непрерывнее, чем пулемет, причем на нем не было ни обычного диска ружей-автоматов, ни обыкновенной ленты тяжелых пулеметов.

Но его совершенно не тронула ни чудодейственная конструкция необычайного карабина, ни длительность, с которой он стрелял, не меняя ленты. О пулеметных задержках, несмотря на то, что он был специалист, он даже не подумал. Его поразило и оскорбило другое обстоятельство: как он ни целился, как ни напрягал и без того острого зрения стрелка, ни одна из этой кинематографической вереницы пуль не попала в картонное сердце странной девушки. А она качалась и пела:

«Я принцесса из тира;
У меня картонное сердце...»

И капризно вскидывала левую бровь, казалось пред назначенную для того, чтобы издеваться над влюбленными неудачниками.

Потом все закрутилось с молниеносной быстротой, девушка еще раз вскинула свою неестественную бровь и превратилась в усатого денщика, с невероятными усилиями бùдившего своего командира. Во-первых, был готов утренний завтрак, а, во-вторых, пришло приказание: танковой колонне немедленно отправляться для выполнения очередной боевой операции.

Ему недолго пришлось размышлять над этим странным сновидением. Жестокие бои с превосходящими силами противника моментально притушили всякое воспоминание о нем. А потом, уже весной, ранение, не очень серьезное, но делавшее работу невозможной, вывели

его из строя. И он снова очутился в игрушечном городе, с домиками, напоминающими елочные украшения. Через две недели, еще немного припадая на не совсем зажившую ногу, он вышел из госпиталя с твердым намерением найти дом, где жила «принцесса из тира».

Он, конечно, не собирался, как во сне, стрелять в нее из карабина, да и карабина тоже не было. В сущности, он даже сам хорошо не знал, какие побуждения руководили им, заставляя блуждать по кривым, узким улочкам. В конце концов он нашел то, что искал: пряничный домик с черепичной крышей. Но едва лишь он собрался подняться по крутому крылечку, как вдруг падная дверь отворилась, и оттуда не вышла, а выпорхнула «она» в сопровождении высокого стройного офицера-летчика. Ему даже пришлось посторониться и прижаться к стене, чтобы разойтись с ним на узком тротуаре. Они прошли мимо, даже не обратив внимания на человека в форме, стоявшего возле дома.

Почему-то ему стало больно, хотя он не имел на нее решительно никаких прав. Кем он был для нее? Случайным знакомым, милым эпизодом без последствий... Но все же сердце стучало быстрее пулемета, хотя перед ним и не было никакой видимой цели. Девушка — это было очевидно — не делала разницы между всеми своими случайными знакомыми, и в этом сознании для него таилось много радостного и вместе с тем оскорбительного. Несомненно — этот летчик был тоже эпизодом, не больше и не меньше. Поэтому... Он стиснул кулаки и пошел прочь от игрушечного домика, сразу ставшего чужим и враждебным. Натуры, подобные ему, не умели переносить даже незначительных неудач.

Завтрак в собрании, сопровождаемый несколькими рюмками коньяку и бокалами пива, поправил его настроение. Боль стала расплывчатой, отдаленной, как будто сейчас касалась уже не непосредственно его самого, а какого-то очень милого близкого человека.

Выходя из собрания, он направился по главной улице, уже темнеющей, окутанной теми непередаваемыми гру-

стными и прекрасными лиловыми сумерками, навевающими тихую боль воспоминаний. Его ничто больше не интересовало в этом игрушечном городке, и прогулка была совершенно бесцельной. На скрещении улиц он остановился, давая пройти веренице грузовиков. Случайно его взгляд упал на вывеску, красовавшуюся над входом в угловой магазин. Два перекрещенных карабина, мишень под ними и сбоку фигура целящегося в мишень грубо намалеванного стрелка в псевдо-охотничьем костюме, свидетельствовали о том, что здесь помещался тир.

Он вспомнил свой сумбурный сон и, движимый внезапно пробудившимся любопытством и еще каким-то инстинктивным чувством, толкнул маленькую дверь магазина и вошел не в тир, не в маленькое и узкое помещение, а в свой собственный сон, неожиданно повторившийся наяву.

Чьи-то руки услужливо подали ему карабин, не тот чудодейственный, а обыкновенное монтекристо, стrelляющее сжатым воздухом. Он даже не обратил внимания на то, кто дал ему монтекристо; взгляд его был устремлен в глубину, где на противоположной стене освещенной разноцветными лампочками, колебалась знакомая женская фигура, с капризно вскинутой левой бровью. Внезапно, откуда-то из глубины, граммофон, чуть-чуть пришепетывая, донес до его слуха слова знакомого мотива:

«Я принцесс из тира,
У меня картонное сердце,
Попади в него, и я упаду к твоим ногам...

Не веря своим ушам и еле сдерживая охватившее его волнение, он вскинул карабин, быстро учел привычным глазом отклонения и качания мишени и спустил курок.

Резкий щелчок, похожий на треск елочной хлопушки, и фигура, взметнув руками, сорвалась со стены и распростерлась лицом.

— Удачный выстрел, молодой человек! — произнес глуховатый старческий голос. Откуда-то из полумрака к нему вышел небольшого роста сухонький старик, в куртке охотничьего покроя, каких-то странных брюках и мягких войлочных туфлях.

Он протянул стрелку худощавую, но очень крепкую руку и представился.

— Джузеппе Челлини — чемпион мира по стрельбе: победитель стокгольмской олимпиады 1912 года, состязаний в Тироле в 1913 году, в Брюсселе, в...

Трудно было даже уловить сразу и осмыслить весь этот бесконечный словесный каскад, вылетавший, подобно пулеметной очереди, из уст пылкого итальянца...

Наконец он остановился и выпустил руку своего собеседника, которую все время патетически потрясал...

— Франческа, — Франческа! — закричал он полуобернувшись в сторону. — Приветствуя нашего нового гостя. Старинный обычай должен быть соблюден...

Приключение становилось забавным.

У него было такое ощущение, как будто виденный на позициях сон еще продолжается, вступая в новую фазу...

А когда совершенно неожиданно его шею охватили мягкие женские руки и чьи-то губы чуть-чуть коснулись его губ, он искренне подумал о том, что хорошо бы вообще не просыпаться.

К сожалению, эта фаза мнимого сна длилась всего несколько секунд. Обнимавшие его руки опустились, вidineние отступило шаг назад и превратилось в знакомую незнакомку...

Он невольно сделал движение в ее сторону, но почувствовав, что девушка не выразила особого желания быть узнанной, остановился в смущении.

— Не удивляйтесь, молодой человек, — затараторил неугомонный старичок, — у нас так принято... Кто с

первого выстрела попадает в сердце Франчески, того она обязана поцеловать... И вы понимаете, что до сих пор, смею вас уверить, никто еще не обижался... и не отказывался.

Он добродушно засмеялся, довольный собственным остроумием.

— Впрочем, — прибавил он, внезапно переходя в серьезный и немного испытанный тон, — вы не должны делать из этого никаких легкомысленных выводов, молодой человек... ибо со мной в стрельбе мог состязаться только... — Тут последовала какая-то совершенно фантастическая фамилия не то монгольского, не то русского князя с длиннейшим перечислением его побед на различных состязаниях.

Сказать все это, не переводя дыхания, мог бы только итальянский тенор, натасканный на колоратуру...

Окончив эту словесную стрельбу, синьор Челлини галантно расшаркался.

— Очень было приятно, капитан, с вами познакомиться. Я и дочь ждем вас сегодня вечером у себя на ужин... Это тоже традиция. — Он вынул визитную карточку. — Вот тут адрес. Кроме вас будет еще один милейший молодой стрелок-летчик... Правда, он сегодня днем не очень хорошо себя почувствовал... — Старичок при этом строго посмотрел на прелестную Франческу, при чем та покраснела и опустила глаза... — Но это ничего. Бывает... Я сам был молод и все понимаю..

— — — — — — — —

Это был самый восхитительный вечер за последние годы его жизни. Маленькая, уютно обставленная квартирука в тихой улочке старого города утопала в весенних цветах. Но самым лучшим цветком, конечно, была Франческа — принцесса из тира. Старик Джузеппе оказался милейшим хозяином и неугомонно носился по квартире, заражая всех юношеской пылкостью, совершенно не соответствующей его возрасту.

Ужин был тоже очень удачен и заставил всех позабыть о военном времени и связанных с ним некоторых недостатках. Восхитительное ризotto, спагетти и настоящее душистое кьянти красноречиво говорили о том, что в тихой улочке северного городка, недалеко от фронта, неожиданно вырос солнечный итальянский островок.

Старик объяснил наличие всех этих редких блюд — проявлением дружеской симпатии знакомых офицеров, приехавших из Италии.

Капитан самоотверженно глотал спагетти, напоминавшие ему своей длиной кишку, которую врач засовывает в глотку пациента при добывании желудочного сока; шутил с беспрерывно трещавшим синьором Челлини и ухаживали за прелестной Франческой, чувствуя, что ее насмешливая бровь становится для него все более неотразимой. Немножко смущало его присутствие лейтенанта-летчика. Припоминая замечание старика в тире и смущение девушки, капитан втайне мучился ревностью. Впрочем, летчик был, повидимому, милым парнем и ухаживал за хозяйкой вполне тактично, не выходя из рамок обычного светского флирта. Вдобавок, к великой радости капитана, он довольно скоро ушел, сославшись на то, что рано утром ему нужно выезжать в свою часть.

Слегка захмелевший синьор Челлини тоже удалился в свою маленькую спальню, и капитан остался вдвоем с Франческой. Как-то само собой получилось, что широкое, кутанное кожей кресло, предназначенное для одного, вместило их обоих. И снова нежные и тонкие руки заплелись вокруг его шеи, а губы потянулись к губам. Он хорошо не знал, является ли это движение продолжением семейной традиции, но чувствовал, что оно очень приятно и длится несравненно дольше, чем в тире.

Покашливание старика, донесшееся из спальни, невольно заставило его отстраниться. При этом он подумал о том, что чемпион стрельбы не зря упоминал

днем о своей меткости. Конечно, он не боялся старика, но отлично сознавал, что у него не хватило бы духа поднять руку с револьвером на отца, защищающего честь своей дочери. А вместе с тем, быть мишенью, без возможности обороняться, ему тоже не хотелось.

Франческа, очевидно, угадала его мысль. Она наклонилась к нему и, щекоча ухо, обдавая его горячим дыханием, шепнула:

— Не бойся. Отец не будет стрелять. У него правая рука не в порядке. Он давно уже забросил это дело. Только ему нельзя напоминать об этом. Ты понимаешь, это больное место.

Успокоенный, он обнял девушку, уплывая с нею в неведомый сказочный сон.

*

Прекрасная явь так же быстро проходит, как и все сны. Неудивительно, что отпуск показался ему еще более коротким, чем первое мгновенное прикосновение губ Франчески.

За это время его часть перевели на Западный фронт. Весну сменило лето, потом пролились осенние дожди. Декабрь застал его в Париже.

Франческа еще жила в его воспоминаниях, правда, уже несколько полинявших, как плохо промытые домашние снимки. Может быть, его чувство было и более глубоким, но он сознательно старался погасить его, повинуясь инстинктивному мужскому эгоизму, никогда не верявшему в то, что любимая женщина принадлежит ему безраздельно.

Как это ни странно, но в этом большую роль сыграла так понравившаяся ему вначале семейная традиция знаменитого чемпиона стрельбы. Ему казалось, что девушка уже не раз, потихоньку от отца, расширяла границы этой традиции. Может быть и сам стариk знал об этом и только в силу привычки говорил, в предупреждение предприимчивым молодым людям, о меткости своего глаза и верности руки.

Но парижский серый и сырой декабрь навел на него тоску и невольно вернул мысли к первой зимней встрече. С удивившей его самого нежностью, уже давно притупленной фронтом, он вспомнил маленький северный городок и домик, похожий на елочную игрушку, покрытую снежной ватой.

Эта первая встреча была для него несравненно дороже, чем вторая, несмотря на яркие губы Франчески, умевшие так чудесно целовать. Образ девушки в его представлении как бы раскололся на два: до и после. Яркое и определенное «после» тускнело перед неопределенным и мутным «до».

Растянутый и растроенный долго бродил он по вечернему Парижу и, наконец, совершенно усталый, зашел в маленький ресторан на бульваре Клиши. Ему, не хотелось ни есть, ни пить, но все же он заказал какой-то ужин и бутылку вина.

Оркестр играл что-то знакомое и он никак не мог припомнить, где и когда слышал эту песенку, странно сочетавшую в себе неожиданное, веселое буйство синкопических взрывов с грустной мелодической основой. Налив в стакан вина, он сделал глоток и задумался. Кто-то коснулся его плеча. Веселый голос сказал:

— Добрый вечер! Вот неожиданная встреча!

Подняв глаза, он увидел перед собой летчика, того четвертого, чье присутствие на вечере у синьора Челлини заставило его сердце сжиматься от ревности. Но это было тогда... Теперь же он обрадовался неожиданной встрече. Никакие женщины их больше не разделяли, аближало все, вплоть до ленточки военного ордена в петлице у обоих.

Когда иссяк обмен запасом фронтовых впечатлений, неизбежный при подобных встречах, оба припомнили северный городок и, конечно, ее... Франческу. И тут он сразу вспомнил забытый мотив. Ну, ясно, это была та самая песенка, которую он так чудесно воспринял во сне, а потом услышал в полуутенном тире.

«Я принцесса из тира
У меня картонное сердце».

Удивительно, как он мог забыть ее?

А летчик, дружелюбно сверкая ослепительно-белыми зубами и щуря острые, серые как у птицы, глаза, спросил:

— А как ваш роман с очаровательной Франческой? Я ведь тогда уехал. Но, надо сказать, мне не повезло. По правде говоря, я вам завидовал...

— Ну, какая же тут может быть зависть...

Внезапно старые сомнения вспыхнули в нем. И заглушая тоску, навеянную воспоминаниями, он с деланным цинизмом, на зло этой тоске и внезапной нежности к Франческе, добавил:

— Мне кажется, что вы немножко промахнулись, милый друг, т. е. не в мишень, конечно, иначе бы вас не пригласили к старику, а в другом смысле. Не поверили ли вы в меткость старого чемпиона? Я думаю, что он и вам сказал, что с ним состязаться в стрельбе опасно. Я вполне уверен, что это вас ничуть не испугало. Но состязаться в стрельбе со стариком... фу... Кто же мог это себе позволить? А, ведь, дело-то обстояло совсем иначе, Франческа сама сказала мне об этом. Старики совсем не мог стрелять, он плохо владел правой рукой.

— Что? — удивленно уставился на него летчик. — Как вы говорите? Старики не мог стрелять, по вашему? И она сама вам об этом сказала? Так знайте-же, капитан, что в тот же самый день, когда я зашел к ней еще до вас, и, скажу прямо, попытался ее поцеловать вне программы, она оттолкнула меня. А старики вышел из соседней комнаты с револьвером, и, погрозив мне пальцем, почти не целясь, всадил одну за другой четыре пули в маленькую точку на стене, которую я даже не мог как следует сразу рассмотреть, потому-что она была не больше мухи. Вот как он не мог стрелять... Вы просто не поняли, почему она вам сказала это. Она лю-

била вас и боялась, что слова отца оттолкнут вас от нее... Понимаете?

*

Серый парижский дождливый декабрь расцвел для него неожиданно ярким гигантским цветком, подобным Виктории Регии. Потому что на его сбивчивую, суматошную телеграмму, посланную в маленький северный городок, Франческа ответила двумя словами: «Приезжай, жду».

ЧЕРНЫЙ ДЫМ

Вдали одиноко щелкали выстрелы. Одна пуля, сильно ослабленная, упала с противным свистом у задних ног лошади, отчего та сделала резкий скачок в сторону, сильно тряхнув крепко сидящего в седле всадника. Но эти выстрелы и отдаленный уже стихавший шум погони больше не беспокоил Паутова. Каратин на границе, солдат с простреленной головой, смешно ба-рахтавшийся в канаве после неудачной попытки пре-градить дорогу, — все это путающееся в несвязных обрывках мыслей, поглощалось одним потрясающим словом: чума.

Это слово жгло мозг, наполняло душу смятением и ужасом, хотя до охваченного черной смертью города оставалось не менее мили и необозримое пространство зеленого гаоляна, скрывавшего и коня и всадника, ни-чуть не напоминало об ужасной эпидемии.

Дорога, извивающаяся узкой полосой между высоких в рост человеческий стеблей поднималась на кру-той холм. Было совершенно тихо. Вдали темным пятном, на мутно-опаловой дымке неба прочерчивался Фун-Чен — главный очаг заразы, из которого в панике бежало все живое и беспощадно расстреливалось на границе международным отрядом карантина.

Пробиться из зачумленного города на волю было почти немыслимо. Направляясь в Фун-Чен, Паутов не мог не считаться с этим. Но что-то более сильное, чем страх, более властное, чем смерть, заставляло его шпо-рить лошадь и приближаться к чумному городу.

Там была Ася, его жена, единственный человек, близ-кий сердцу бродяги-охотника.

Правда, она ушла от него, и еще неделю тому назад он ненавидел ее так, как только может ненавидеть ди-

кий самец, у которого более сильный и ловкий соперник отнял самку. Но теперь это отошло куда-то вглубь души. Он больше не вспоминал этого. Единственным его желанием было отнять, вырвать Асю из холодных отвратительных рук черной смерти.

*

По мере приближения к городу картина резко менялась. Небо теперь казалось вымазанным китайской тушью и, вместе с оранжевым солнцем, садившимся на вершинах Чунг-Тунга, поразительно напоминало рисунки на японских веерах. В воздухе потянуло гарью. Очевидно, город был подожжен грабителями или обезумевшей от страха чернью. Мысль о пожаре заставила Паутова нахмуриться и подбодрить шпорами усталую лошадь.

*

Сильная рука схватила лошадь за повод, китайское ругательство прорезало воздух. Лошадь шарахнулась в сторону. В темном крепе сумерек, мягко отрауивших город, Паутов не успел разглядеть внезапной опасности.

Скачок лошади спас его. Страшный удар рукояткой тяжелого маузера по голове, от которого хряснула черепная коробка, заставил неожиданного врага отпустить повод. Он шлепнулся навзничь в грязную жижу улицы, раскинутыми руками и полами одежды напоминавая гигантскую белую птицу.

Паутов свернулся в боковую улицу и галопом поскакал мимо тесно сдвинутых, нахолившихся фанз.

Несмотря на близость ночи воздух был дущен и давил как стеклянный колпак, наполненный ядовитыми газами. За рекой, отделявшей европейский квартал от туземной части города, небо было подернуто темно-красным кармином зарева. Это догорали остатки домов европейцев, подожженных возмущенной чернью, уверенной в том, что белые нарочно привезли с собой черную смерть.

В этот-то горящий квартал и направился Паутов. В душе его жила одна мысль: найти Асю во что бы то ни

стало: увезти ее, какой угодно ценою из этого гниющего и горящего ада.

Всюду на пути валялись исковерканные судорогой смерти, зловонные трупы. Казалось, что черная смерть, насосавшись живой человеческой кровью, изрыгнула эти трупы, корчась в пьяной рвоте после своего зловещего пиршества.

**

Женщина была полураздета. Каштановые волосы ее были спутаны и густыми беспорядочными прядями свисали на плечи и грудь. Лицо, продолговатое, тонкое со впавшими щеками, казалось совершенно чужим и только в глазах, сквозь муть безумия, проскальзывало что-то близкое, родное.

Паутов нашел ее на рассвете после долгих блужданий среди обгорелых развалин, в доме, случайно уцелевшем от пожара.

Он вспомнил о том, как встретил ее несколько недель тому назад в городе, цветущую и жизнерадостную и ужаснулся такой разительной перемене. Жалкой теперь показалась ему злоба, охватившая его, когда он поймал иронический взгляд мужчины, шедшего рядом с ней. Ему казалось, что он никогда не свыкнется с мыслью, что она, его Ася, его жена, частица его души и тела, его собственность, кем-то отнята. А теперь тоскливая жалость схватила Паутова. Он приблизился к жене и взял ее на руки.

— Ася, — сказал он, усаживая ее рядом с собой на низкую кушетку, — разве ты не узнаешь меня? Это я, Георгий, твой муж. Я приехал, чтобы взять тебя из этого ада, родная.

Нежность дрожала в его голосе.

Она посмотрела на него внимательно, силясь вспомнить что-то, давно ускользнувшее из памяти.

— Черный дым, — сказала она медленно, хмуря брови и с трудом выдавливая слова, как будто что-то мешало ей говорить.

— Посмотри, — продолжала она, — он всюду — черный дым! Он взял у меня Михаила, отнял все, все.

В глазах ее на секунду мелькнуло что-то сознатель-

ное. Потом вдруг лицо исказилось отвратительной гримасой ненависти:

— Это ты убил Михаила и теперь хочешь убить меня!

Припадок бешенства мало-по-малу сменился истерикой и обессиленная она позволила уложить себя. Скоро она уснула, может быть, впервые после нескольких суток страха и отчаяния.

Когда Паутов окончательно убедился в том, что она спит — он отправился на поиски Михаила. Что-то странное творилось в его душе. Всего несколько дней тому назад он мечтал о том, как встретить где-нибудь в гаоляне своего врага. Подстережет, притаившись, как охотник зверя... Месть... Месть! А теперь... Зачем? Не было желания мести... Это было странно, почти радостно. Он нашел ее чужую. Да она, если и удастся бежать отсюда, все-равно чужая. И мысль о необходимости найти своего врага, спасти его для нее, для Аси, так же настойчиво вошла в его сознание, как и желание спасти ее.

Охотник, встречавшийся один на один с уссурийским тигром-людоедом, бесстрашно подстерегавший в тайге легкую коварную рысь, суровый степной бродяга, иско-лесивший Монголию, Тибет и Китай, внезапно почувствовал, как что-то защемило горло, а по загорелой, бронзовой щеке на подбородок скатилась горячая капля.

*

Дикий хохот и брань висели в воздухе. Большая просторная фанза, освещенная спирто-калильной лампой была наполнена всяким сбродом. Ядовитый дым опиума смешивался с винным перегаром. Размалеванные проститутки сидели на коленях у пьяных.

По углам, на грязных циновках лежали люди-полутрупы, с безжизненными, землисто-серыми лицами и втягивали из маленьких трубочек ядовитый дурман, уносивший их от чумы в неизъяснимое счастье.

За столом, посредине фанзы, играли в карты. Мелькали в воздухе большие и маленькие кружочки золота и хрипло кричал банкомет, тася колоду.

Паутов остановился на пороге. Картина эта, даже ему, привычному ко всему, показалась кошмарным нелепым бредом. На безумных, перекошенных лицах была Она — Черная Смерть. Она вползала неслышно из мрака улиц, и всем, решительно всем, было понятно, что от нее не уйти никуда. Только лежавшие на циновках с трубками были спокойны. Сладкий дурман уносил их далеко за пределы земли.

Взоры всех обратились на вошедшего. Сжимая револьвер, Паутов решительно шагнул вперед. Его рослая фигура, смешной вид и револьвер произвели должное впечатление. Игра прекратилась. Окинув беглым взглядом лица, Паутов сразу заметил сидящего за столом Михаила. Лицо его было смертельно бледно, тонкие губы сжаты.

Почувствовав взгляд Паутова, Михаил вздрогнул и подняла глаза. Лицо его сразу посерело. Растигивая пьяных, Паутов подошел к нему.

— Идем, — сказал он, беря Михаила за плечо. — Ася тебя зовет.

Было в его голосе что-то странно-властное, заставившее Михаила покорно подняться и идти,

*

Паутов проснулся. Он вспомнил, что пора отправляться на поиски лошадей. Одной его лошади для троих было недостаточно. И, кроме того, изнуренная долгими переходами, она могла не выдержать и сдать в самый опасный момент переезда через карантин.

— Надо разбудить скорей Михаила, — подумал он, вставая. — Вдвоем, все-же гораздо легче что-нибудь найти.

— Михаил! — крикнул он в полумрак.

Никто не отозвался.

Подойдя к кушетке, на которой лег вечером Михаил, Паутов чиркнул спичку. Кушетка была пуста. Паутов бросился в комнату Аси. Вторая спичка озарила сумерки. Кровать Аси тоже пустовала. Комната носила следы беспорядочного панического бегства.

Чувство тупого безразличия охватило Паутова. Все было понятно: его бросили, воспользовавшись сном бес-

конечно измученного человека. На минуту вспыхнула злоба, но он тотчас же погасил ее. Вспомнились слова Аси: «черный дым взял все...»

Он вышел во двор. Заглянул в коюшню, точно надеясь на что-то. Лошади, верной спутницы его скитаний, не было. Валялся хлыст и переметные сумы, забытые в попыхах. Последняя надежда рухнула.

Бежать! Куда? Опять в степи, в одиночество тайги? Опять звериная злоба ко всему, ко всем? Опять кочевья, монгольские юрты, легкий бег сохатого, волчий вой, рев отшельника тигра, вспугивающий гуранов и изящных изюбреи?

Звери лучше. Человечество в своем жалком эгоцентризме не понимает зверей. Но звери тоже не примут человека, отравленного людской злобой.

Всегда, всегда, сколько ни живи среди них так же встревоженно будет убегать сохатый, цепляясь рогами за низкие ветви деревьев и стрясывая на ходу целые охапки листьев. Так же сжимаясь в стальной клубок, будет готовиться к прыжку полосатый тигр и недоверчивость о спасении. А, впрочем, может быть, спасение вовсе не там, где это кажется людям?

Но куда-же, куда?

Неожиданная мысль озарила мозг, но это не была мысль о спасении. А, впрочем, может быть, спасение вовсе не там, где это кажется людям?

Подобрав разбросанный повсюду сухой гаолян, Паутов начал торопливо обкладывать им весь дом и с каким-то злорадством, точно мстя кому-то невидимому, поднес к сухому пучку зажженную спичку.

И когда пламя, взвизгнув, метнулось кверху и, шипя, миллионами красных игл вонзилось в сухую постройку, он пробрался в комнату Аси и лег ничком на ее постель.

Громко затрещали горящие балки, огонь проник внутрь здания, укусил горячим поцелуем занавески и, извиваясь, потянулся по всем комнатам. И когда рухнули балки, увлекая за собой крышу, густой черный дым медленно пополз к небу, точно пытаясь заслонить его спокойную синеву от зачумленного Фун-Чена.

„БЛАГОУХАННЫЙ ЦВЕТ“

Пасха в этом году поздняя, а весна ранняя: на первой неделе поста растаяли последние кучи снега, собранные по краям мостовой. Легкие утренники и теплый ветер с моря подсушили лужи. А на страстной зацвела черемуха. Из окна моей мансарды, за черепичными крышами старого города, видны светло зеленые верхушки старых тополей и лип, расчесанных частым гребнем только что прошедшего первого весеннего дождя. Кто-то напротив, открывая окна, пускает в мою комнату солнечных зайчиков. А может быть и нарочно какая нибудь девушка, разогретая весенними лучами, мило подшучивает над слегка седеющим сумрачным человеком, которого даже весна не может оторвать от письменного стола.

У меня странная работа: календарь на будущий год, присланный из Парижа. Он будет печататься в нашем городе, где все дешевле и, главное, наборщики почти все понимают по русски. Передо мной отдельные листочки, написанные мелким неразборчивым почерком. Два стиля, и полное перечисление всех знакомых и незнакомых святых. Оторванные от родины, мы полюбили даже то, к чему, живя дома, были очень часто равнодушны. И сейчас, не знаю почему, меня волнуют названия явлений богоугодничих икон. Сколько поэзии, сколько чудесной истинной романтики, одухотворенной чистой верой, в таких наименованиях, как: «Утоли моя печали», «Всех скорбящих радость», «Умиление»...

Нужно переписать эти листочки, —наборщики народ аккуратный, требующий предельной ясности.

Надо проследить за правильным размещением по дням всех святых, постов, служб, проверить знаменательные даты.

Я кропотливо копаюсь в этих листках. Есть на них и литературные кусочки: выдержки из классиков и современных авторов. Кто-то, может быть такой же как и я, седеющий не от лет, а от жизни, зарывшись в книги, в тишине убогой парижской мансарды, терпеливо исписывал эти листочки. Я не знаю его. Календарь мне передали через типографию, откуда — время от времени — я получаю мелкие работы. Но я представляю себе, что он, так же как и я, глядя из косого мансардного окна на зеленые верхушки каштанов, усеянные характерными свечечками, думает о своей Тамбовской или Воронежской губернии, где скоро яблони покроятся белым тонким и душистым кружевом. Мне вспоминаются строки Блока:

«Свирель запела на мосту
И яблони в цвету.
И Ангел поднял в высоту
Звезду зеленую одну»...

И мне сейчас кажется, что все мое прошлое было реальным, а теперешняя жизнь — старый город, остроги, кирхи, черепичная крыша, свежий ветер с моря — сон.

Один листочек из кучи упал на пол. Он мне не нужен, это из какого то зимнего месяца, до которого я еще не дошел. Но все равно, надо поднять, а то легко может затеряться. Я поднимаю его, приближаю к глазам и читаю первое, что мне бросается в глаза: явление иконы Божией Матери «Благоуханный Цвет». Как странно! Почему сейчас, когда я думаю о весне на своей далекой родине, мне попадается это чудесное название, так гармонирующее с моими мыслями. Благоуханный цвет! Я думаю о маленькой, хрупкой девушке в яблоневом саду. Вся пронизанная солнцем, точно светящаяся изнутри, она представляется мне каким-то радостным видением, совершенно не похожим на всех окружающих. И на ее голову, плечи, грудь сыплются невесомые, точно снежники, душистые лепестки. Это моя невеста. Вряд ли ей было еще 16 лет, в те дни, когда я, окончив военное училище, заехал на недельку

в имение, чтобы потом с головой окунуться в веселый и погибельный водоворот войны. И мне тогда не было полных двадцати лет. Но чуть тускловатое серебро погоны и ярко оранжевые лампасы делали меня старше и значительнее моего возраста. Между нами еще не сказано ничего, что к чему-то обязывает, делает ответственным за все дальнейшие шаги.

Я устало улыбаюсь воспоминаниям. Этот день прошел, как и все другие счастливые и несчастливые дни и годы. Она не стала ни моей невестой, ни женой. Было много других встреч, много женщин, но того радостного волнения, сияния солнечного весеннего дня, благоуханного яблоневого сада — уже не было. Видение исчезло.

Я поворачиваю листок, вызвавший во мне столько воспоминаний. Почему оборот его исписан? Там не должно быть ничего. Может быть, составитель календаря взял, не заметив, кусок какого нибудь письма?

Женский почёрк, крупный, почти детский. Он мне совершенно незнаком, но меня так странно волнуют эти крупные, прыгающие, неровные буквы? Или просто меня расстроили воспоминания и весна, льющаяся веселым огненным потоком в запыленное окно моей мансарды?

Я читаю:

«Мой далекий и милый! Жив ли ты или нет, я не знаю, как не знаю, для чего я пишу сейчас, когда у меня нет ни адреса, ни каких либо сведений о твоей судьбе. Но почему-то сегодня, когда в Париже весна, чуждая нам, но как всегда манящая куда-то в воспоминания, я ясно представляю себе ту единственную весну моей жизни, когда, казалось, мы должны были стать одной душой, одним телом, одним весенним порывом. Нас соединило солнце, весна и душистые русские яблони, благоухание которых я остро чувствую и сейчас, больше десяти лет спустя, в чужом мне городе.»

Я бережно кладу листок на стол. Что-то новое, давно мною неиспытанное поднимается в душе. Я начинаю чувствовать весну, солнце. Я снова верю в возможность чудес на нашей скучной, унылой планете.

Нет, я не буду больше сидеть в запыленной скучной мансарде. Сегодня страстная суббота...

Люди куда-то спешат, делают закупки. В последний раз заходят в собор, чтобы приложитьсь к плащанице. А вечером — разговоры; пасхальный стол, окорока, яйца, куличи, пасха. У меня нет никого в этом городе, и, разумеется, мне никто не спечет кулича и не сделает пасхи. Я даже никогда бы и не подумал об этом. Но... сегодня — я не один. Поэтому я иду в лавки и покупаю все, что могу на свои скучные средства. Немного ветчины, несколько крашенных яиц, маленькую пасочку, кулич, бутылку вина. И два гиацинта — розовый и белый, заботливо обернутые цветной бумагой.

В полночь, под веселый колокольный перезвон, я возвращаюсь из собора с зажженной свечею в руке. Я не один: со мною рядом, невидимая для других, но ясно ощущаемая мною хрупкая девушка. Мечта, видение, невеста, Россия! Она сейчас невидимка, воспоминание, плод моего воображения. Но я твердо верю, что скоро, очень скоро, мы встретимся, чтобы никогда больше не расставаться. Мы идем с нею рядом в лиловатой полумгле бульвара, на котором кое-где, как майские светлячки, вспыхивают одинокие свечки прохожих. Весенний теплый ветер кудрявит ее белокурые волосы...

А над нами, в высоком бледном небе, где еще мелькают яркие точечки звезд, прорезая небесную синеву, неслышными шагами проходит Божия Матерь и сыпет на меня, на нее, на всю землю чудесный, незабываемый, неповторимый «Благоуханный Цвет».

ЛЕЛЕЧКА

«Я думаю, что теперь могу написать тебе. Прошло достаточно времени для того, чтобы все больное улеглось, и, пожалуй, даже позабылось. Я теперь стала сама собой. До известной степени, понятно. Но совсем недавно встреча с тобой была бы для меня роковой и могла стоить мне огромного душевного напряжения. Не могу сказать, выдержало бы это напряжение мое сердце. Впрочем, это совершенно безразлично, ибо сердце было наименьшим, чем ты мог интересоваться во мне. Кроме моей наружности, тебя всегда потрясала во мне моя бесконечная готовность отдать всю себя, может быть, иногда даже не веря, что жертва не останется напрасной. Прости меня, я лгу: жертвы не было. Физически ты был для меня идеалом. Но... упливая с тобой в бесконечное чувственное счастье, я все же в промежутках не могла не думать о том, что оно должно быть чем то оправдано. Подумай сам: разве я могла верить в то, что эта огромная физическая радость, которую мы давали друг другу, была у тебя следствием гармонии души и тела? Нет, нет и нет. Ты всегда был радостным и красивым существом, очень чутким и сердечным для своих друзей и, может быть, для тех женщин, которыми ты хотел обладать, но недостаточно понимающим для той, которая полюбила тебя совершенно беззаветно. Ты никогда не понимал меня. Моя естественная человеческая гордость для тебя казалась умалением твоих мужских прав. А я, в минуты наших размолвок, была готова на все, согласна была отдать всю свою жизнь за мгновение, когда твой мужской эгоизм уступит место человеческому чувству, и ты, даже не будучи виноватым, подойдешь ко мне с ласковым словом. Боже мой! Как бы я любила тебя за эту ми-

нуту! Но этого никогда не случалось. Были мгновенья, когда двое или трое суток спустя, я, с потухшим ожиданием и притупленным сердцем, выслушивала твои запоздалые признания, нередко сопровождавшиеся скучными мужскими слезами. И тогда думала о том, что вода нужна человеку в момент наибольшей жажды, но не тогда, когда она уже утолена.

Потом ты уехал. Не по своей воле. То, что я переживала в это время, могут рассказать стены моей квартиры. Может быть, еще наши друзья. Но вряд ли они расскажут это, так как их глаза тоже застилал туман любви и желания. А в этот момент мужчины страшны своим непониманием самого больного, что совершается в нашей душе. Им кажется, что нет ничего больнее их отвергнутой, непризнанной любви, но подумать о причинах этого у них не хватает ни способности, ни желания.

Ты знаешь о ком я говорю. Один — молодой мечтатель, совершенно неприспособленный для практической жизни, но умеющий совершенно таинственно занимать деньги, которые не приносят пользы ни ему, ни тем, кому он хочет помочь. Потому что все, предпринимаемое им, настолько бестолково и идет вразрез с человеческой жизнью, что даже самые обыкновенные, зияющие его поступки кажутся нелепостью. Мне странно и порою страшно, что его большой ум, одаренность и душевная чистота как бы висят в воздухе, — до такой степени они неприменимы к жизни.

Не хочется говорить о втором. Также как и первый, он любит меня, но у первого больше идеализма и той бестолковой жертвенности, иногда умиляющей бесконечно, а иногда нервирующей до ненависти.

Оба очень внимательны ко мне, но в заботах второго чувствуется большой жизненный опыт человека, любившего многих женщин и умеющего подойти к ним с еле уловимым оттенком ласковой иронии.

В нем больше мужского эгоизма, правда, искусно спрятанного и, так как он уже стареющий человек, проживший достаточно бурную жизнь, — он умеет ценить

в нас малейшее тепло и самую незначительную ласку и менее непримирим в вопросах этики и морали. Он умеет и может быть практичным в современных условиях, не теряется при наплыве мелких житейских неприятностей и, выражаясь грубо, полезен в хозяйстве.

Ему можно спокойно доверить, уйдя в театр, нашего маленького Вовика, квартиру, и всегда можно надеяться, что ребенок будет помыт, причесан, уложен в постельку, квартира будет прибрана и заперта, а мне сделан ужин. Я питаю к ним обоим, хорошие дружеские чувства, но, ты знаешь, что сердце мое пусто и холодно. Любить я больше никого не могу... Пока. Что будет дальше, — не знаю. Может быть... Но могу сказать только одно: ни той беспредельной преданности, ни той верности от меня больше не может ждать ни один мужчина, хотя бы я и полюбила его огромной всепоглощающей любовью.

Ты, вероятно, будешь удивлен, получив это длинное и непривычное для тебя письмо. Имей терпение и прочти его до конца. Может быть потом ты поймешь к чему все это длинное предисловие. Опять непонятно для тебя? Да, именно это предисловие к той небольшой повести из моей былой жизни, когда я еще не знала тебя. Тебе я ее никогда не рассказывала, а теперь решила написать. Делай из нее какие хочешь выводы.

Ты знаешь, более или менее, мое прошлое. Я никогда не старалась приукрасить его, никогда не наряжалась в тогу страдания, чтобы вызвать у любимого человека большее сочувствие. В своих рассказах о прошлом, я иногда бывала даже нарочно циничной и внимательно следила за собой. Отдаю тебе должное: твое сочувствие было всегда искренним, без той обидной жалостливости, которую очень любят многие неискренние женщины, и которая для меня совершенно непереносима.

Может быть, потому я тебе и не рассказывала этой истории, так как, упоминая о прошлом, всегда хотела быть хуже, чем я была. Мне хотелось видеть, способен ли ты, как говорится, полюбить «черненькую»... «Бе-

леньких» может полюбить каждый, а «черненьку».. Впрочем, это сейчас безразлично.

В те страшные дни я была усталой, больной, и потертянной. Без любви, без родных, без денег. Машинально ходила в свою контору, где за жалкие гроши занималась какой-то скучной торговой перепиской, сушившей мозг и вызывавшей тошноту, усиливавшейся голодом и моей беременностью. Я вынуждена была забросить все, что раньше украшало мою жизнь и, самое главное, музыку. Мое пианино осталось дома и я не могла даже мечтать о том, что бы купить другое, или взять на прокат, хотя бы самый плохонький инструмент.

Ты пойми, что мне было всего только двадцать лет, т. е. те годы, когда каждая женщина, даже менее красивая, чем я, если она не больна какой-нибудь неизлечимой болезнью, вроде туберкулеза, имеет право жить, радоваться и цвести. А если она талантлива, то и творить. А у меня не было никого. Меня покинул даже бедный и беспутный брат, которого я, после смерти мамы, будучи сама полуребенком, вынуждена и выносила буквально на своих руках. Это было самым последним ударом, ножом в спину. Но вместе с тем, ты напрасно думаешь, что я представляла собою какой-то «образ печали,— душу, лишенную сердца». Даже в этой гнетущей обстановке, полуголодная, без моей любимой музыки, я была, или может быть, хотела казаться веселой и беспечной на людях и ходила с гордо поднятой головой. Но внутренне я была опустошена. Самое сильное, самое чудесное первое чувство было опоганено и те мимолетные связи, порой возникавшие у меня, были только данью природе, но не душе. И, наряду с этим, я все же при таком душевном безмолвии не опустилась, как многие, до сожительства без любви, ради материальных выгод. Я просто иногда выбирала того, кто мне казался немного лучше других и потом, когда увлечение проходило, — спокойно расставалась. Должна сказать — все это было очень редко.

И вот произошло то, о чём я хочу рассказать. В тот день я задержалась в конторе немного дольше обыч-

ного. Кто-то справлял именины и, так как такие события даже в самых скучных учреждениях несколько оживляют общий серый будничный строй жизни, то и у нас тогда было все непривычно весело и уютно. Немного выпили, без всякого парада и накрытых столов, на холостую ногу, разложив горы сосисок и бутербродов на чистую белую бумагу, и открывая бутылки, за неимением штопора, не то гвоздем, не то старой искри-
вленной вилкой. Я люблю такие дружеские импровизации несравненно больше чем официальные банкеты, со столами «покоем», речами и скучными номерами казенной программы.

Отказавшись от провожатых, я шла домой, наслаждаясь мягким зимним вечером. Ты знаешь, как мне близки такие чудесные вечера, когда чуть-чуть подтаивает и снег тихо, медленно сыпется с неба, подобно лепесткам персидской сирени. На душе у меня была какая-то притаенность, смирение и нежная грусть. О ком, о чем? Обо всем в мире и ни о чем... Припомнились стихи Ахматовой:

Морозное утро... С парада
Идут и идут войска.
Я солнцу январскому рада
И тревога моя легка.
Здесь помню я каждую ветку,
И каждый силует...
Сквозь инея частую сетку
Малиновый брыжжет свет.
Здесь дом был когда-то белый,
Высокое крыльцо,
Сколько раз рукой помертвелой
Я сжимала звонок — кольцо.
Ну что-ж, играйте солдаты,
А я свой дом отыщу,
Узнаю по крыше покатой,
По спутанному плющу...
Волынка вдали замирает,
Снег идет, как вишневый цвет...
И никто, ведь, никто не знает,
Что белого дома... нет.

И, хотя был вечер, и ничто в окружающей обстановке не могло вызвать воспоминаний об этом чудесном стихотворении, я шла и пела именно его. Не читала, а пела, потому что стихи всегда претворялись у меня в музыку. Может быть, если бы не тот роковой поворот в моей жизни и я поступила бы в консерваторию, я избрала бы композиторство, как наиболее гармонирующий со всей моей душевной установкой род искусства.

А эти стихи я любила с детства. Ты знаешь, иногда бывают такие провидческие привязанности. Совсем маленькой девочкой я глубоко чувствовала напевную трагичность последних строк: «и никто, ведь, никто не знает, что белого дома нет». Точно предчувствовала, что у меня его тоже не будет...

Я шла и тихонько пела, жалея о том, что у меня нет ни пианино, ни клочка нотной бумаги, иначе этой ночью родился бы новый романс — от души. И вдруг мое музыкальное опьянение прервал чей-то нежный, мелодичный голос. Должно быть музыкальность настолько неистребима во мне, что я даже в обыкновенной разговорной человеческой речи прежде всего способна воспринимать не слова и таящийся за ними смысл, а самые тончайшие модуляции голоса. Этот робкий полудетский голосок поразил меня именно своей серебристой чистотой. Не только звуковой, но и душевной. Я остановилась и даже не сразу поняла, что хочет от меня маленькая стройная девушка, полуребенок. Ее чудесное лицо, напоминавшее мне еще не совсем распустившуюся белую озерную лилию, было устремлено на меня с таким доверием, нежностью и надеждой.

— Возьмите меня с собою, — повторила она. — Мне некуда итти.

Ее маленькие нежные ручки протянулись ко мне, одновременно как бы желая обнять и умоляя.

И, повинуясь какому-то внутреннему порыву, совершенно не думая о последствиях, отбросив мысль о своей собственной неприюченности и неустроенности, я взяла ее с собой. Мне было как-то непривычно радостно чувствовать около себя такое доверчивое нежное

Существо. Это ощущение было похоже на материнское чувство, хотя я была только на два года старше Лечечки. Я ни о чем не спрашивала ее. Было понятно без слов, что она, подобно мне, заброшенная, сникшая душа, загубленная на задворках человеческих чувств. Кто она? Выгнали ли ее родители за неловкий шаг неопытной юности? Бросил ли соблазнивший ее, черствый эгоист? Может быть, она уже несколько лет была на трудном наклонном пути, сойти с которого редко кто может помочь. Толкают еще дальше. Но чутьем, каким-то глубоким внутренним слухом я почувствовала в ней, несмотря на уличную случайную встречу, большую внутреннюю чистоту, соединенную с физической опрятностью. Она была одинока, голодна, несчастна, но не опустилась. Ей было не под силу бороться в этом страшном и непонятном мире, где грубые руки и ноги ломают хрупкий фарфор и топчут цветы.

Лечечка осталась у меня. Должна признаться: я ленива по натуре. Мне всегда надоедала возня с кастрюлями, скучные хозяйствственные обязанности, уборки, стирки. Я делаю все без всякого энтузиазма. Впрочем, тебе не надо об этом рассказывать. Последний год нашей совместной жизни с тобой являлся достаточно наглядным. Правда, ты был очень терпеливым мужем и часто делал за меня многое, что, в сущности, мужчине не подобает. Но ты никогда не задавался вопросом, отчего во мне произошел такой сдвиг? Разве первые годы нашей любви я была плохой, хозяйствкой? Вспомни сам сколько раз я ждала твоего прихода, приготовив все для того, чтобы ты мог отдохнуть дома, почувствовать тепло и уют... Но... обед простывал, а вместе с ним во мне остывало желание что-нибудь делать для дома. Не ты ли пропадая по суткам, приучил меня к шатаниям на обеды в столовки и рестораны, хотя дома все могло быть лучше, уютнее и красивее? Так подумай, для чего мне нужно было беспокоиться об обедах и уюте тогда, в тяжелые минуты моей жизни, когда я была совершенно одинока и у меня не было даже Вовика? Не буду, впрочем, клеветать на себя. У меня всегда было чисто, так же как и я сама, как женщина, отлично

понимала, что нельзя опускаться в физическом смысле до отвратительной неряшливости и нечистоплотности, еще более нериятной в женщине, нежели в мужчине. Но я делала все это с огромным напряжением и пользовалась каждой возможностью избежать, насколько мне могли позволить мои скучные заработки, стирки и уборки.

С приходом Лелечки все переменилось. Совершенно без всяких просьб с моей стороны, она стала мило хозяйничать в моем доме, причем делала все так весело и охотно, что я завидовала ей. Она не была очень интеллигентна, но этот недостаток у нее восполнялся необычайной душевной чуткостью и способностью угадывать с полуслова то, что многие люди не могут почувствовать даже после длинного объяснения.

Мы очень привязались друг к другу. Она призналась мне в том, что в вечер нашей встречи ее поразило мое лицо и глаза.

— Ты шла и пела и все лицо твое точно светилось. И мне даже не было стыдно подойти и попросить тебя взять меня к себе. Я знала, что ты неспособна оттолкнуть, потому что видела в твоих глазах сразу и радость и грусть. А такие глаза понимают.

*

Так прошло несколько недель. Потом... Лелечка начала пропадать. Приходила иногда поздно вечером, порой заплаканная, смотрела на меня голубыми виноватыми глазами. Наконец, прия однажды на другое утро, призналась, что у нее есть «он». Я ожидала этого и вместе с тем мне стало больно. Я восприняла это как измену любимого человека.

Я ничего не сказала ей, но мне было горько при мысли, что настоящая, радостная любовь не стыдится своего проявления, а в поведении Лелечки было что-то недоговоренное, какая-то притаенность, хотя мне она могла бы сказать о своем чувстве. Если при ее доверчивом и открытом характере она чего-то не договаривала, значит там не могло быть большой и бесхитростной любви, наивно поверяющей свои тайны, порой, даже совсем посторонним людям.

Я не пыталась вырвать от нее признания. Я знала, что наступит момент, когда она не выдержит и сама расскажет все.

Случилось иначе.

Однажды, когда ее не было дома, раздался звонок. Я знала, что это не Лелечка. Когда проживешь более или менее продолжительное время с человеком, то приучавшись различать его шаги на лестнице, звонки. Порою даже без этих внешних восприятий просто чувствуешь его приближение. Но это был звонок чужой и враждебный. С неприятным чувством я открыла дверь. На пороге стоял мужчина. Он не был безобразен, скорее даже красив, но в нем было что-то отталкивающее: низкий лоб, бесцветные глаза, тяжелый массивный подбородок и мясистые губы. В его вежливой просьбе — разрешить ему поговорить со мною по важному делу — была какая-то совершенно непередаваемая смесь наглости и желания казаться «джентльменом». Пересиливая страх и отвращение, я пригласила его войти, предложила стул, а сама села напротив на диване.

Подумала о Лелечке и вся похолодела. Инстинкт подсказал мне, что это и есть именно «он». Боже мой! Какой контраст между Лелечкой, таким хрупким чудесным, не вполне созревшим цветком, и подобным наглым животным, красота которого вызвала желание дать ему по физиономии, до чего она была неприятна. Бывают такие лица. Даже по тому, как он посмотрел на меня, начав этот осмотр с ног и постепенно переведя тяжелый чувственный взгляд на лицо, я поняла, что каждая красивая женщина для него только «товар».

Я люблю горячие мужские взгляды, мне, как и каждой женщине, приятно вызывать восхищение. Тогда загорашься сама и порою чувствуешь, что тебя невольно тянет к совершенно постороннему человеку. Бывают такие вспышки взаимных притяжений. Но в тот момент у меня было желание надеть на себя что-то, закутаться, спрятаться от этого тяжелого несытого взгляда, точно будто я сидела перед ним голая и он разбирал меня «по статьям», как лошадь на конской

ярмарке. Женщина может быть желанной, вызывать восхищение, но все же в каждом мужском взгляде, брошенном на нее при встрече, всегда проскальзывает и частица душевной теплоты, скрашивающей и одухотворяющей вспышки страсти. Во взгляде этого человека не было ничего душевного. Так мог смотреть на женщину пещерный дикарь, подстерегающий ее с дубиной в руках.

Без долгих предисловий, он прямо приступил к «делу». И по мере того, как он говорил, упрекая меня в том, что я будто бы насилино держу у себя Лелечку, порчу ее, отбивая от него и от дома, во мне все больше и больше росло и крепло сознание, что этот субъект — самый обычный сутенер, насилино держащий в своих цепких и грязных лапах девушку, и готовый за хорошую сумму передоверить ее любому желающему.

Ты знаешь меня. Я не труслива и, даже очень испугавшись, умею не показывать этого. Лучшая тактика в таких случаях наступать самой. Поймав его на какой-то грубости, проскользнувшей в его разговоре, хотя он и старался быть «джентльменом», я быстро вскипела и заявила ему, что не желаю с ним ни о чем разговаривать. И если он хочет дальнейших объяснений, то может поговорить с моим другом, который должен притти с минуту на минуту. У меня не было в то время никакого «друга», но я нарочно придумала этот трюк, так как для подобных людей ценность человека изменияется только степенью физического давления и в его представлении каждая более или менее красивая женщина непременно должна иметь «покровителя», который призван ее защищать и эксплоатировать. Он очень быстро ретировался, учтя то, что у женщины, с моими физическими качествами «друг» может быть и боксером и борцом, или просто иметь при себе браунинг.

Когда он ушел, я долго не могла успокоиться. Мне было бесконечно больно за Лелечку. Я воспринимала это как свою собственную боль, как свое личное горе. Лелечкина история частично повторяла мою собственную, с тою лишь разницей, что первый близкий мне человек, причинивший мне много горя, все же имел

человеческую душу, а я, при всей своей молодости и неопытности, никогда не могла быть такой беспомощной.

Потом Лелечка рассказала все. Это была обычная история. Соблазн, угрозы, вымогательство. Не имея ни родных, ни знакомых и не испытывая к этому человеку ни капельки любви или даже привязанности, она была вынуждена жить с ним, торгая собой ради его благополучия. Он поставлял ее «богатым клиентам», иногда угощал ею своих товарищей и не было такой мерзости, которую бы он ни заставлял ее делать. Боже мой! Почему не стреляют подобных людей! Ты понимаешь, что такие люди могут в каждом самом жизнерадостном существе вызвать отвращение к жизни. Они искают все светлое, все человеческое, красоту жизни как бы в гигантском кривом зеркале, из которого на нас смотрят бессмысленные, нелепые, чудовищные хари.

Потом начался кошмар. Лелечка стала пропадать все чаще и чаще. Порой приходила избитая, и тогда подолгу отлеживалась, а я сама измученная караулила ее, дрожа от страха, что он как-нибудь подстережет меня, или ее.

Мы обе были беззащитны и одиноки. Этот случай глубоко потряс меня и, верь мне, я даже не могла себе представить в то время, что какой-нибудь мужчина может быть мне близок. Встречались порой нежные, может быть душевно хорошие люди, но в каждом я невольно ловила звериный лик, и ощущала в его руках невидимую дубину, которой он хочет оглушить меня по голове.

*

А дальше.... ты знаешь? Я должна была идти в больницу. Только там, когда у меня родился Вовик, я немного отошла душой. Я больше уже не помнила об его отце. Он для меня стал как бы выцветшей фотографической карточкой, давно умершего некогда любимого человека. Острота и боль потери сменилась радостью приобретения. Может быть, я плохая мать и часто не даю моему ребенку всего того, что он в пра-

ве иметь. Но никогда ни один мужчина, как бы я его ни любила, не сможет отвлечь меня от моего сына. Тут не может быть «или, или».

И как только я вышла из больницы и обо мне «наконец подумали» мои родные, я сразу же вспомнила о Лелечке. Еще не совсем твердая на ногах, я начала наводить справки, ходила по множеству комнат, которые она переменила после моего ухода. Рискуя встречей с «ним», я побывала во всех этих часто подозрительных местах. Ее не было нигде. Слава Богу ее «друг и покровитель» тоже мне не попадался. И... наконец, я узнала... В одной из квартир старого города пожилая женщина с простым и милым лицом поведала мне страшный конец повести о Лелечке. Передам его приблизительно так, как рассказала эта добрая душа.

«Пришла ко мне вечером. Комнату снимать. Не знаю откуда она про эту комнату узнала. Беленькая такая, нежная, — гимназисточка, да и только. И вся такая хрупкая, а глаза как два огонечка светятся. Не думала я ничего про нее плохого. Сразу она мне как родная стала. Я свою дочку несколько лет назад схоронила, а муж еще в прошлую войну погиб. Так верите ли, как Лелечка появилась, словно мне Бог опять дочку послал. И она ко мне так доверчиво пришла. Ну, думаю, такая девушка не может ничего плохого сделать. Пускай живет и мне старухе будет теплее. Может по хозяйству что поможет. Устроила я ей постель в маленькой комнатке, прибрала все чистенько. Собралась в лавку пойти. А она хотела куда-то за вещами сходить. Я говорю: ты подожди, Лелечка, маленечко, пока я в лавку схожу, а пока вот тебе занавеска, повесь на окошко. А она смотрит на меня и почудилось мне, словно она плачет. Спрашиваю: ты что это? Аль что не ладно? «Нет, — говорит, — ничего, — это так» и рассмеялась. В лавке я, правда, немного замешкалась. Прихожу, когда уже смеркаться начало. Положила все покупки, думаю сейчас мы ужин готовим. Иду в ее комнатку. Окликаю. Никто не отзыается. А я, милая, вижу плохо. Разглядела только на окне что-то темное. «Лелечка, говорю, ты что же это, никак с занавеской

не можешь справиться? А она ничего не отвечает. Ну, думаю, тут что-то неладное. Подхожу, Господи Иисусе! Ножки в воздухе висят, чуть повыше подоконника. Она, бедная, занавеску собиралась повесить, а потом видит крюк... Ну, передумала и сама повесилась. Потом уже я всю жизнЬ ее узнала. Господи Боже мой, страсти то какие».

«Вот тебе история Лелечки. Я затаила ее в глубине... Эта боль ушла внутрь, и никогда не проходила. Потом я встретила тебя. Мы пережили много радостных минут и мне порой казалось, что история с Лелечкой, да и мое прошлое, были лишь случайными гримасами жизни, а жизнь радостна и прекрасна. Дальше, — ты знаешь сам. Как только начались наши размолвки, передо мной все чаще и чаще возникал прекрасный образ Лелечки. И в те минуты даже твое хорошее и доброе лицо начинало казаться каким-то, прости меня, двойственным, порой звериным. Ликом дьявола. Во мне рос и ширился протест против бесконечного мужского самовластия, этой успокоенной упоенности своим совершенно не оправданным превосходством. А когда я узнала о тебе многое другое, — я вспомнила:

«Никто ведь, никто не знает, что белого дома нет».

Ты понимаешь, во мне произошел какой-то перелом, стянута какая-то частица души. Не все ли равно, кто это сделал. Ты ли, или кто-нибудь другой. Когда человек теряет, что-нибудь дорогое, не все ли равно в каком месте он это потерял. Ты, я думаю, понимаешь, почему я сейчас, даже если встречу на своей дороге большого и хорошего человека, могущего мне дать что-то настоящее и яркое, все равно не могу ему обещать ни той верности, ни той преданности. Трудно дать, чего у тебя нет. Прощай.

P. S. В начале письма, я упоминала о наших друзьях. Может быть тебе упоминание о них было неприятно. Инстинктивно ты чувствовал, что они относятся ко мне иначе, чем к жене друга, хотя их и нельзя было ни в чем упрекнуть. Они оба неплохие и сердечные люди. Конечно, я для них женщина, может быть, больше чем человек или друг.

Я не люблю ни того, ни другого. Иногда мне казалось, что кто-то из них может быть моим мужем. Так хотелось порой покоя, ласковых, заботливых рук. Тот из них, что моложе, при всех своих качествах и красивой наружности, сам потерянный и беспомощный в жизни. Какие уж тут ласковые и заботливые руки? Грустная ирония: мне иногда кажется, что он даже не сможет сам вбить крюка в стену, чтобы повеситься, а должен будет попросить сделать это кого-нибудь другого.

Второй... Ты знаешь, мне больно писать о нем. Он, при его возрасте, сохранил очень много душевной свежести и ребячества. С ним мне никогда не было скучно. Он умеет красиво любить и заботиться о любимом человеке. Я вижу пред собой его лицо, временами похожее на физиономию пожилого бульдога, который потерял хозяина, но настолько сдержан, что не может даже заплакать. Он сидит за роялем, вполоборота ко мне и играет Григорского «Пер Гинта»... Мою любимую песню Сольвейг. В нем есть что-то родственное моей душе: огромная жажда жизни, вечная молодость, не желающая мириться с годами и бесконечная грусть одаренной натуры, вечна ищущей того, чего не бывает.

Странно, что я говорю о нем в настоящем времени, между тем, как его уже нет. Он не выдержал тяжести неоправданного чувства и ушел из жизни. Тебя, я знаю, поразит это известие. Ты, вероятно, задумаешься над моей характеристикой и, со свойственной тебе прямолинейностью, скажешь: вечная молодость, ребяческая душа, огромная жажда жизни, а человек отрекается от всего и уходит. И, в конце концов, поняла. Наивысшая жажда жизни заключается в отказе от нее. Надо иметь силу уйти во время. Ты понимаешь: лучше чем-то-либо он знал: белого дома нет.

РОЗА И КРЕСТ

А. С.

Сегодня, накануне Троицы, все идут домой с березками. Я тоже захватил по дороге одну и бережно несу ее, вдыхая острую свежесть только что распустившихся клейких листочеков.

Она невольно настраивает меня на несколько сентиментальный и меланхолический лад, совершенно не соответствующий моему возрасту стареющего и знающего цену жизни циника.

«Я давно ироничен, циничен, издерган, не верю
Ни в кого, ни во что, — ни в людей,
ни в божественный свят.
Я давно и без слез хороню за потерей потерю,
Я забыл все слова, кроме очень короткого «нет»...

Сегодня мне чужды эти когда-то искренне вырвавшиеся строки. В клейкой свежести березовых листьев есть что-то заставляющее забывать о действительности: седеющей голове, неудачно сложившейся жизни и о том, что все прожитые годы можно было бы использовать более целесообразно. Иметь, скажем, какой-то свой угол, семью, а не разбросанных по всему земному шару бывших жен, от которых не осталось даже выгоревших на солнце карточек.

Впрочем, я не могу сейчас считать себя вполне одиночным. Дома меня ждет женщина, не ставшая, правда, моей женой, но и не настолько далекая, чтобы я мог считать ее совершенно чужою.

За три года совместной жизни мы даже привязались, друг к другу, как могут быть привязаны цепная собака и будка, около которой она сидит.

Она не очень молода, но достаточно хорошо сохранилась для того, чтобы иметь от времени до времени поклонников, пленяющих ее искусственно сделанной детскостью. Она добра, великодушна, женственно-обаятельна и упряма настолько, что убедить ее в чем-нибудь так же трудно, как сдвинуть с места гранитную скалу. Нужно взрывать динамитом.

Она вся соткана из совершенно непримиримых противоречий, в которых щепетильность, аккуратность, доходящая до абсурда, до собирания пылинок с пола находятся в резкой дисгармонии с абсолютной неспособностью к логическому мышлению. Всякий разумный довод при плохом настроении вызывает у нее гневную, истерическую вспышку, а в хорошем — шутливую, ласковую отговорку, после которой остается только развести руками, погладить головку с упрямо вздернутым хохолком и отойти с твердым намерением навсегда отказаться от подобных попыток.

Ее поклонники приводят меня в тихое бешенство. И еще больше я злюсь от того, что она искренне объясняет это мое состояние — ревностью. Но это совсем не так. Меня раздражает то, что в ней их привлекает все нарочитое, сделанное несвойственное ее настоящей сущности. Эта ненужная игра в капризного ребенка, смешная в ее возрасте, жеманное кокетство, истерическая надуманная оживленность и искусственный смех могут притягивать только тупых и ограниченных людей, неспособных проникнуть немножко дальше внешней человеческой оболочки.

Но я хорошо знаю, что в глубине, под этой маской, запрятано чудесное, много и больно страдавшее человеческое сердце. Сердце, убитое неверием.

В моем представлении возникает одинокая, беспомощная женщина, уходящая зимой из собственного имения на станцию. Она не может оставаться, там, где ей не верит самый близкий человек. Это страшная вещь! Правда, в которую не верят, так легко претворяется в ложь.

Дальше — скитание по чужим людям, враждебный

город, борьба за кусок хлеба и печать отверженности на лице.

Я вижу идущую по улице маленькую, больную и гордую женщину. Она не ела несколько дней, но не может сознаться в этом своим знакомым. У нее звон в ушах и противная свинцовая тяжесть во всем теле. Еще секунда, и она упадет в обморок тут же на улице... Но нет... это ничего. Надо только собраться с силами, прислониться к дому... и все пройдет. Ее только что приглашали к обеду... — Ну, нет, благодарю вас... Я уже обедала...

Это смешно! Кто же нынче не обедает в этом благополучном сытом городе?

И ведь то были знакомые, гостившие когда-то в их имении. Могут ли они представить себе, что-нибудь подобное после виденного там богатства?

Я вижу ее, полуослепшую от удара и нервного потрясения, с темной повязкой на глазах. И еще и еще многое, о чем лучше никогда не вспоминать.

— Нет, мне не надо ее масок. Долой их! И когда у нас возникают размолвки, когда она бросает мне в лицо резкие слова осуждения, или с деланным спокойствием говорит о том, что я ей безразличен, чужд и даже враждебен, мне хочется сказать:

— Милая, мне не нужно твоего внешнего притворства, ни игры в девочку, ни жеманного кокетства. Пусть ими увлекаются другие, которых можно обмануть. Снимем маски, и ты увидишь, что я, как нянька, баюкаю твоё усталое и больное сердце.

Но я ничего не говорю. Я знаю, что все слова разобьются о неприступную стену гордости и упрямства. А ночью она будет долго плакать в темноте, запершись в своей комнате и убеждая себя в том, что я черствый эгоист и совершенно ее не понимаю.

*

Но сегодня канун Троицы. И мне не хочется забивать себе голову печальными размышлениями. Сегодня у меня памятный день. Я захожу в цветочный магазин и,

внутренне чуть подсмеиваясь над собою, покупаю алую розу. Только одну. Это моя маленькая тайна...

Мне немного стыдно ловить на себе насмешливый взгляд продавщицы, непременно думающей, что роза эта предназначена какой-нибудь dame сердца. Бог с ней. Пусть думает, что хочет. А мои мысли далёки от этого.

...Конец прошлой войны... Этот же самый город... Понтонный мост и четкое цоканье копыт по деревянному настилу...

Я верхом на темногнедой красавице «Астре». Мне двадцать лет, но в прошлом у меня два с половиной года войны, три ранения и тусклое серебро погона на детских, хрупких плечах. Обветренное загорелое лицо забинтовано, «гиппократовой шапкой» — после удара венгерской саблей, едва не снесшего мне головы... За мной — сотня... Это звучит слишком громко и гордо для... восемнадцати человек, оставшихся из 120 после двенадцатидневного блуждания в неприятельском тылу.

На нас никто не смотрит. Публика равнодушно проходит мимо. Может быть, потому, что война уже всем надоела. А, может быть... Мое сердце сжимается от боли и я чувствую, как беленький эмалевый крестик давит мне грудь... Может быть, потому, что мы отступаем... Никому нет дела до наших потерь, ранений и жертвенности. Отступающие не вызывают симпатии...

И вдруг у самого конца настила, уже на камнях мостовой, я вижу девушку в голубом платье. У нее огненно рыжие волосы, как на картинах Тициана. Оки прекрасны, точно колеблемое ветром далекое зарево пожара. Она еще подросток, у нее чистое свежее лицо и внимательные широко раскрытые голубые глаза. В ее руках алая роза.

Я отвожу глаза и хочу проехать мимо этого огненно голубого видения и вдруг чувствую, как что-то яркое, подброшенное вверх, падает на мою левую руку с поводом.

Это — роза, которую держала девушка с тициановскими волосами. Я едва успеваю поймать ее свободной правой рукой.

Мое сердце наполняется благодарностью и нежностью к этой милой девушке. Мне дорог ее привет. Я вижу, как ее лицо покрывается краской внезапного смущения, когда я, остановив лошадь, бережно-прижимаю к губам драгоценный подарок.

И внезапно мне приходит в голову жестокая мысль: ведь мы же отступаем! Мы недавно после упорных боев оставили Митаву и, наверное, скоро оставим и этот город и вместе с ним чудесную девушку, подарившую мне 'алую розу. Краска стыда покрывает мое лицо. Мне кажется, что она проходит насквозь через бронзовую кожу и белый бинт, которым я перевязан.

Разве я заслужил эту розу? Цветы дарят победителям, входящим в завоеванный город, а не отступающим.

Резким движением я срываю с груди эмалевый крестик и бросаю его к ногам растерявшейся смущенной девушки.

В тот момент мне кажется, что я не имею права, недостоин его носить...

Пришпорив «Астру», я съезжаю с моста и, не оглядываясь назад, рысью еду направо по набережной...

*

Я иду домой, грустно улыбаясь воспоминаниям, сжимая в руках купленную розу. Она вызывает в моем воображении ласковую девушку у моста. Мои мысли сейчас так далеки от ждущей меня дома женщины. Конечно, я отдаю ей эту розу. Но я никогда не рассказывал ей этой истории. Это мое, личное. Пусть нас связывают какие угодно отношения, но есть уголки, в которые нельзя пускать даже самых близких.

Я не сомневаюсь в том, что и у нее есть подобные же воспоминания. Я хорошо знаю, что иногда, в грустные минуты, она достает из своего секретера маленькую шкатулку, в которой хранятся какие-то былые сувениры.

Однажды, в раздражении, она кинула мне резкую фразу о том, что только один человек на всю жизнь запечателся в ее памяти, когда ей было пятнадцать.

лет, и воспоминания о нем не могут стереть никакие другие люди, как бы она их ни любила.

— Если б я только могла его встретить!

Она произнесла эту фразу с поразившей меня искренностью, так не похожей на ее обычные разговоры.

Я от души посочувствовал ей. Если б я мог встретить девушку с огненными волосами!

*

Сегодня мне почему-то особенно грустно.

Может быть потому, что накануне меня опять раздразнил ее очередной туполобый поклонник. Мне кажется, что я сейчас способен открыть свою маленькую тайну. Так хочется поделиться ею с кем-то близким...

С этими мыслями я поднимаюсь по лестнице и открываю дверь квартиры.

Что это? В прихожей горит свет. Она собирается уходить и надевает пальто, поданное ей гостем.

— А мы идем в театр. — обращается она ко мне с деланно-приветливой безразличной вежливостью.

— Господи! Как я ненавижу этот изысканный тон, которым она говорит со мной в присутствии посторонних. Сдерживаюсь и с каменным лицом, вежливо раскланиваясь, прохожу мимо.

Желание поделиться с кем то моими воспоминаниями быстро угасает. Здесь мне не с кем делиться...

Оставшись один, я погружаюсь в раздумье. В сущности, что мешает мне расстаться с домом, в котором порой я так остро чувствую себя лишним? Я знаю, что понять меня до конца могла бы только та девочка в голубом платье, кинувшая мне, побежденному, розу.

Нет, я не могу больше, я уйду...

Я открываю ее секретер. Первый раз в жизни я делаю это без спроса. Но ведь я не возьму ничего чужого. Я только положу в маленькую шкатулочку ненужный мне теперь цветок. Кому же больше мне его отдать? Не существующей девочке в голубом платье? Где она и что с нею? Может быть, ее и не было никогда и она только плод моего воображения?

Я поднимаю крышку шкатулки... Я не любопытен, мне не надо знать чужих тайн.. Но моя рука, кладущая туда розу, невольно натыкается на твердый металлический предмет. Он мне странно знаком на ощупь... Я вынимаю его.

... Боже мой! Беленький эмалевый крестик... Мой и ее... Крест нашей жизни.

Я тихо целую его и кладу обратно .. Пусть они лежат рядом — два не узнавших друг друга воспоминания: Роза и Крест.

Я мысленно сливаю их в одно объединяющее понятие: розовый крест. Это — обнимающие и отталкивающие меня розовые руки, сгоревшая, не оправдавшая себя нежность... То, от чего нужно уйти.

